



Сумароковский “след”... в “Мёртвых душах” Гоголя

В.И. ГЛУХОВ,

доктор филологических наук

Внимательно перечитывая комедию А.П. Сумарокова “Лихоимец” (1768), поневоле задерживаешься на такой забавной сценке. Скупой ростовщик, действующий в комедии под именем Кащей, требует от доверенного лица одного молодого господина расписку, подтверждающую, что тот получил сданные ему ранее заклады, хотя возвращать их он вовсе не торопится. Между ними завязывается любопытный диалог:

Кащей. Где ж расписка-то?

Пасквин. А заклады-то, да закладная-то где, сударь?

Кащей. Заклады ваши не пропадут.

Пасквин. Да и расписка-то не пропадёт.

Кащей. Да расписку-то наперёд выдай. Вот заклады и закладная.

Пасквин. Вот расписка.

Кащей. Отдай же её.

Пасквин. Отдай же заклады и закладную.

Затем один протягивает руку, чтобы взять расписку, другой – заклады и закладную. В авторской ремарке сообщается, что Кащей выхватывает расписку у Пасквина, но закладов и закладную не отдаёт и даже кладёт их опять за пазуху. После чего он рассматривает расписку и, взяв её в зубы, вынимает заклады и наконец их возвращает (Сумароков А.П. Полн. собр. всех сочинений в стихах и прозе. М., 1787. Часть V. С. 103–104; далее – только стр.).

В этой комической сценке есть что-то очень знакомое. Где встречалось нечто подобное? . Верно: в “Мёртвых душах” Н.В. Гоголя, в главе, описывающей пребывание Чичикова в доме Собакевича. Когда Чичиков попросил у того расписку, удостоверяющую, что он в качестве задатка получил за продаваемые им мёртвые души определённую сумму денег, между ними состоялся похожий обмен репликами:

– (...) Пожалуйте только расписочку.

– Да на что же вам расписочка?

– Всё, знаете, лучше расписочку. Не ровен час, всё может случиться.

– Хорошо, дайте же сюда деньги!

– На что ж деньги? У меня вот они в руке! как только напишете расписку, в ту же минуту их возьмёте.

– Да позвольте, как же мне писать расписку? прежде нужно видеть деньги.

Вслед за этим автор констатирует: Чичиков выпускает из рук ассигнации, а Собакевич, “приблизившись к столу и накрывши их пальцами левой руки, другою написал на лоскутке бумаги, что задаток {...} за проданные ревизские души получил сполна” (Гоголь Н.В. Полн. собр. соч.: В 14 т. М., 1951. Т. VI. С. 107; далее – только том и стр.).

Содержание и строение обоих диалогов, звучание каждого слова и каждой реплики, вопросов и ответов, а также суть завершающих их авторских ремарок столь сходны и столь очевидно перекликаются между собою, что невольно спрашиваешь себя: всё это случайное совпадение или перед нами непосредственное заимствование? Скорее – второе. Тем более, что это наблюдение подтверждается и другими текстуальными совпадениями. В частности, когда позднее к Кащейю, уже по иному делу, заходит Дорант, возвративший ему взятые под заклад деньги, ростовщик не скрывает сожаления, расставаясь с его закладом. Ему кажется, что заложенные вещи Дорант у него словно бы выкрал. Кащей говорит с упрёком: “Ты у меня перстенёк, табакерочку да часики подтибрил...” (106).

Знаковое словечко *подтибрить* фигурирует и в лексиконе гоголевского Плюшкина. Плюшкин при Чичикове бездоказательно обвиняет Мавру в том, что она “подтибрила” у него четвёртку чистой бумаги (VI, 126). Впрочем, в комедии Сумарокова встречается ещё один комический диалог, по своему содержанию и оформлению отчасти повторённый в главе о Плюшкине.

Дорант расплачивается с Кащеем не какими-нибудь, а медными деньгами, за что тот взимает с клиента дополнительный процент.

Дорант. Сколько вам угодно?

Кащей. По малой мере, копейки по две с рубля.

Дорант. Когда вы так щедролюбивы, так я по четыре копейки заплачу.

Кащей. Не можно ли уже прибавить и пятой-то? {...}

Дорант. Можно, сударь, и это сделать (83).

А вот диалог между Плюшкиным и Чичиковым, пожелавшим купить и “беглые души”. На вопрос Плюшкина, сколько бы он за них дал, Чичиков отвечает:

– Я бы дал по двадцати пяти копеек за душу. {...}

– Только, батюшка, ради нищеты-то моей, уже дали бы по сорока копеек. {...}

– Ну, видите ли, {...} состоянья нет; по пяти копеек, извольте, готов прибавить, чтобы каждая душа обошлась, таким образом, в тридцать копеек.

– Ну, батюшка, воля ваша, хоть по две копейки пристегните.

– По две копеечки пристегну, извольте (VI, 128–129).

Конечно же, автор “Мёртвых душ” разрабатывает этот диалог более изобретательно и детально, нежели Сумароков. Однако текстуальная перекличка несомненна.

Преемственные связи некоторых фрагментов “Мёртвых душ” с “Лихоимцем” подчёркиваются также сближением Чичикова, а вслед за ним Собакевича и Плюшкина со сказочным Кашеем. Хотя сумароковский ростовщик без обиняков назван Кашеем, это драматургу кажется недостаточным для его характеристики. В уста Пасквины, слуги Доранта, он вкладывает и такие слова: это “не простой Кашей, а Кашей бессмертной” (97). Гоголь же сближает своих прижимистых помещиков с этим фольклорным персонажем более осторожно и корректно. Например, в сцене, когда Собакевич, стараясь понять, в чём состоит “дельце” Чичикова, весь замирает, уподобившись истукану. “Казалось, – замечает писатель, – в этом теле совсем не было души, или она у него была, но вовсе не там, где следует, а, как у бессмертного кашея, где-то за горами и закрыта такою толстою скорлупою, что всё, что ни ворочалось на дне её, не производило решительно никакого потрясения на поверхности” (VI, 101). А о Плюшкине в ранних редакциях поэмы говорилось куда определённое: “Должно, однако ж, сказать, что такие кашеи попадают на Руси довольно редко...” (VI, 313, 427).

Как видим, тип сумароковского Кашея был в какой-то мере использован Гоголем в прорисовке его скупых персонажей. Конечно, очерчивая образы Собакевича и Плюшкина, писатель изучал их жизненные прототипы. Но для того чтобы выписать витающие в его воображении уродливые человеческие фигуры наиболее точно и впечатляюще, он опирался на творческий опыт предшественников, в том числе Сумарокова, Фонвизина, Капниста и Грибоедова. Прислоняясь к опыту иноземных творцов комедийного жанра, Гоголь не мог пройти мимо художественных новаций великого Мольера, создавшего классический образ скупердяя Гарпагона, без которого, быть может, не появился бы и сумароковский лихоимец Кашей. Но автора “Мёртвых душ” занимают, прежде всего, русские характеры – в их динамике, с их пороками и страстями, с их живой, богатой и колоритной речью. В “Петербургских записках 1836 года” он, неудовлетворённый состоянием столичных театров, требует: “Ради бога, дайте нам русских характеров, нас самих дайте нам, наших плутов, наших чудаков! на сцену их, на смех всем!” (VIII, 186). С этой целью Гоголь мобилизует весь запас собственных наблюдений над жизнью и обычаями российского люда, не пренебрегая удачными находками в речевой характеристике комических персонажей, в частности, в драматургии Сумарокова.

Кроме уже приведённых, в комедии “Лихоимец” есть сценки, которые тоже, ситуативно и с точки зрения языка, по-видимому, не прошли

для Гоголя бесследно. Так, с молодым слугой Кащей начинает разговор следующим образом: “Не украл ли ты чего, злодей мой! (...) Да вы вишь на это проворны (...) Что ты, скотина, без башмаков? (...) Что мне с вами делать, хамово племя? а я на нынешний год тебе ещё жалованья четыре алтына прибавил (...) едакой болван! отнеси, дурак, деньги-то, в спальню, да возьми себе мои старые туфли, в которых я четвёртого году в баню ходил” (100–101). Подобная сценка встречается и в “Мёртвых душах” в главе о Плюшкине. Плюшкин вызывает слугу-подростка Прошку, чтобы дать ему распоряжение, но в присутствии гостя не может не сказать, какие у него слуги: “Вот, посмотрите, батюшка, какая рожа! – сказал Плюшкин Чичикову, указывая пальцем на лицо Прошки. – Глуп ведь, как дерево, а попробуй что-нибудь положить, мигом украдёт! (...) Поставь самовар, слышишь, да вот возьми ключ, да отдай Мавре, чтобы пошла в кладовую: там на полке есть сухарь из кулича, который привезла Александра Степановна...” (VI, 124).

Примечательны перекликающиеся подробности. Как сумароковский Кащей, так и гоголевский Плюшкин начинают разговор со слугами с обвинения в их постоянной склонности к воровству. Далее. К Кащейю его слуга входит без башмаков, а Прошка пробегает двор босиком и только в сенцах – прежде чем войти в барские покои – надевает сапоги, которые в хозяйстве Плюшкина были общими для всей дворни. Кащей позволяет слуге взять его туфли, изношенные настолько, что он сам их уже давно не надевает. А Плюшкин, желая угостить Чичикова, велит принести сухарь из кулича, привезённого ему дочерью невесты когда. Как видим, словесное оформление речи персонажей у обоих писателей разное, но сущность одна.

Среди творческих предшественников Гоголя Сумароков ещё ни разу исследователями не упоминался. Однако проведённый сопоставительный анализ, на наш взгляд, убеждает в том, что творчество Сумарокова-комедиографа не было безразлично создателю великой поэмы, что в “Мёртвых душах” достаточно явственно звучат отголоски его сатирической музыки. Комедия “Лихоимец” – как это ни покажется поначалу неожиданным – один из литературных источников двух глав гоголевской поэмы (о Собакевиче и Плюшкине). Это даёт основание взглянуть на Сумарокова-драматурга по-новому: его лучшие комедии куда более значительное художественное явление, чем это принято думать. Сказанное расширяет наши знания и об авторе “Мёртвых душ”.

Иваново

АЛЕКСЕЙ МИХАЙЛОВИЧ МАЛЮТИН

Комментарий к “Лёгкому дыханию” И. Бунина*

О.А. ЛЕКМАНОВ,

кандидат филологических наук

В работах Л.С. Выготского и А.К. Жолковского подробно говорится об особой роли, которую в одном из лучших бунинских рассказов “Лёгкое дыхание” (1916) играют внефабульные элементы (см.: Выготский Л.С. Психология искусства. М., 1965; Жолковский А.К. Блуждающие сны и другие работы. М., 1994). Размывая фабулу своего произведения, Бунин заставляет читателя обращать пристальное внимание на, казалось бы, посторонние, не имеющие никакого отношения к развитию действия рассказа, подробности. Среди таких подробностей – портрет императора Николая Второго, о котором дважды упоминается в кульминационной сцене “Лёгкого дыхания” (разговор Оли Мещерской со своей гимназической начальницей): “Начальница, моложавая, но седая, спокойно сидела с вязаньем в руках за письменным столом, *под царским портретом* (здесь и далее курсив в цитатах наш. – О.Л.) (...) Мещерской очень нравился этот необыкновенно чистый и большой кабинет (...) Она посмотрела на *молодого царя, во весь рост написанного среди какой-то блистательной залы, на ровный пробор в молочных, аккуратно гофрированных волосах начальницы и выжидательно молчала*” (Бунин И.А. Собр. соч.: В 9 т. М., 1966. Т. IV. С. 356–357; далее – только стр.).

У героини рассказа “не столько конфликт с начальницей, сколько роман” «с “молодым царём”», остроумно замечает по поводу процитированного фрагмента “Лёгкого дыхания” А.К. Жолковский (Жолковский А.К. Указ. соч. С. 113). Это замечание способно пролить совершенно неожиданный свет на имя, отчество и фамилию совратителя Оли Мещерской, о котором впервые заходит речь в финале эпизода с начальницей. “– Простите, madame, вы ошибаетесь: я женщина. И виноват в этом – знаете кто? Друг и сосед папы, а ваш брат *Алексей Михайлович Малютин*. Это случилось прошлым летом в деревне” (357).

Имя и отчество брата начальницы – *Алексей Михайлович*, знаменательно совпадает с именем и отчеством державного предка того самого

* Первую заметку данного цикла см.: Русская речь. 1999. № 3. С. 51–52

“молодого царя”, чей портрет “очень нравился” девушке; а его фамилия – *Малютин*, провоцирует читателя вспомнить о любимце царя Ивана Грозного *Малюте* Скуратове (Ради полноты картины, укажем в скобках, что среди материалов, опубликованных в сорок четвёртом номере московского журнала “Рампа и жизнь” за 1912 год к 25-летию литературной деятельности Бунина, был и шарж на писателя, выполненный известным художником-карикатуристом Иваном Андреевичем Малютиным.)

Какие цели преследовал Бунин, по-царски оделяя третьестепенного персонажа своего рассказа? На этот вопрос мы и попытаемся здесь ответить.

* * *

Прежде всего, следует вспомнить, что Иван Грозный, чьи [зло]деяния как бы персонифицировались в фигуру Малюты Скуратова, и “тишайший” царь Алексей Михайлович всегда противопоставлялись друг другу в народном сознании и в сознании историков, как царь-злодей и добрый царь. Примеры здесь и далее мы будем приводить, в первую очередь, из работ Николая Ивановича Костомарова, чьими трудами Бунин, как известно, живо интересовался. Так, в заметке “Памяти Т.Г. Шевченко” (1891) писатель цитировал костомаровскую “Автобиографию” (см.: Лит. наследство. 1973. Т. 84. Кн. I. С. 302). В своём знаменитом труде “Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей” Костомаров писал: “Алексей Михайлович стремился к тому же идеалу, как и Грозный царь, и, подобно последнему, был (...) напуган в юности народными бунтами; но разница между тем и другим была та, что Иван, одарённый такою же, как и Алексей, склонностью к образности и нарядности, к зрелищам, к торжествам, к упоению собственным величием, был от природы злого, а царь Алексей – доброго сердца” (Костомаров Н.И. Русская история в жизнеописаниях её главнейших деятелей. М., 1995. Кн. I. С. 670; далее – только стр.). Ещё определённое высказывался на интересующую нас тему В.О. Ключевский: “В царе Алексее нет и тени самонадеянности, того щекотливого и мучительного, обидчивого властолюбия, которым страдал Грозный” (Ключевский В.О. Русская история. Полный курс лекций: В 3 кн. М., 1995. Кн. II. С. 415).

Соответственно, совершенно по-разному проявляли себя два русских царя и в отношениях с женщинами. “Чистота нравов его была безупречна: самый заклятый враг не смел бы заподозрить его в распущенности: он был примерный семьянин” (667). Так Костомаров характеризует семейную жизнь Алексея Михайловича. А вот что историк пишет об Иване Грозном: “...поступки его показывают состояние души, близкое к убопомешательству. Вероятно, такой перемене в его организме содействовала и его развратная жизнь, неумеренность во всех чувственных наслаждениях, которым он предавался в этот период своего царствования” (375).

По-видимому, имеет смысл процитировать ещё один отрывок из повествования Костомарова, описывающий, как опричники во главе с Малютой Скуратовым завершают гнусное дело, начатое царём: “Узнает, например, царь, что у какого-нибудь знатного или незнатного человека есть красивая жена, прикажет своим опричникам силой похитить её в собственном доме и привезти к нему. Поигравши некоторое время со своей жертвой, он отдавал её на поругание опричникам” (379). Страницу спустя, Костомаров снова заводит разговор о развратности опричников и царя: “По приказанию царя, опричники хватали жён опальных людей, насиловали их, некоторых приводили к царю {...} Тогда многие женщины от стыда сами лишали себя жизни” (380).

Последняя из приведённых цитат прямо перекликается с тем фрагментом из дневника Оли Мещерской, где сосед и друг отца девочки буквально на глазах читателя превращается из благостного Алексея Михайловича в омерзительного Малюту Скуратова.

“Я ему очень обрадовалась, мне было так приятно принять его и занимать” (359). Такими словами начинается в дневнике Оли описание визита Алексея Михайловича в имение Мещерских. Далее следует портрет гостя, многие черты которого явственно перекликаются с изображением царя Алексея Михайловича в книге Костомарова: “Ему пятьдесят шесть лет, но он ещё очень красив и всегда хорошо одет {...} и глаза совсем молодые, чёрные, а борода изящно разделена на две длинные части и совершенно серебряная” (359). Ср. у Костомарова: “Царь Алексей Михайлович имел наружность довольно привлекательную: белый, румяный, с красивою окладистою бородою, хотя с низким лбом, крепкого телосложения и с кротким выражением глаз” (666). Отметим, попутно, что начальница Оли подозрительно похожа на своего брата: она – “моложавая, но седая”. Это, по всей видимости, должно было привести читателя к многозначительным аналогиям.

Завершается страничка из дневника Оли Мещерской, как мы уже отмечали, почти прямой цитатой из костомаровского описания оргий опричников: “Я не понимаю, как это могло случиться, я сошла с ума, я никогда не думала, что я такая! Теперь мне один выход... Я чувствую к нему такое отвращение, что не могу пережить этого!..” (359).

Станем ли мы в заключение данной заметки прибегать к рискованным историческим обобщениям, сопоставляя судьбу Оли Мещерской с судьбой самой России, отданной в безраздельную власть царям и правителям всех мастей (навязчивая тема позднего Бунина)? Нет, не станем. Отметим только, что если бы героиня бунинского рассказа не была столь “шаловлива и беспечна к тем наставлениям, которые ей делает классная дама” (355) и лучше учила историю, она, наверное, сумела бы правильно понять подсказку, которую скрывала в себе страшная фамилия человека с “тишайшим” именем и отчеством.



“ПЕСНИ С ДЕКОРАЦИЕЙ”, ИЛИ РУССКИЙ СТИХОТВОРНЫЙ СКАЗ*

И.А. КАРГАШИН,
кандидат филологических наук

“Эпическими” задачами не исчерпывается художественный потенциал стихотворного сказа. Более того, его уникальная природа ярче всего проявляется как раз в драматических возможностях этой формы. “Драматический монолог” – интереснейшее явление русской поэзии. Почему *драматический* монолог? Лучше всего на этот вопрос ответит сам текст – например, написанного в 1868 году сатирического стихотворения Н.С. Курочкина “В ресторане”. Вот его начало:

– Мальчик! карту! два прибора,
Джину, пирожков...
Ну-с, так вновь для разговора
С вами я готов.
Увеличивать напрасно
Незачем беду;

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 2000. № 4.

Верьте, жрут они прекрасно
 Мох и лебеду...
 Дай сюда!.. составлен глупо
 Нынче ваш обед,
 Дайте просто: устриц, супу,
 С зеленью котлет,
 Да пулярку пожирнее
 Или... каплуна...
 Каплуна!.. каплун вернее.
 Карточку вина!
 Вы напрасно всё поёте,
 Что мужик забит...
 Вот и карта... что вы пьёте –
 Нью или лафит?
 Или белого хотите?
 Если всё равно,
 Так лафиту... но смотрите,
 Подогреть вино.

Нетрудно заметить, что этот текст лишь по внешним, формальным признакам можно назвать собственно монологом. Являя нам “речевую партию” только одного из участников разговора, произведение в целом создаёт художественный образ настоящего диалога – собеседования героев. Причём – что особенно важно – сказовый монолог неизбежно формируется на драматической основе, так как разговорная речь диалогична по своей природе. И если читатель перечтёт знаменитое “Завещание” Лермонтова (“Бородино” и “Завещание” – только два сказовых произведения создал поэт, но – какие!..), он поймёт, почему Л.Я. Гинзбург охарактеризовала это стихотворение так: “чудо драматизации, хотя и в монологической форме” (Переписка Л.Я. Гинзбург с Б.О. Корманом // Проблемы автора в художественной литературе. Ижевск, 1998. С. 287).

Однако это ещё не всё. Сказовый монолог способен не только “вобрать” в себя живой разговор собеседников, но нередко воссоздаёт действие – развёрнутую картину происходящего в течение речевой деятельности говорящего. Мастером такого монолога в стихах был Саша Чёрный, вот полный текст его оригинального стихотворения “Новая игра”:

Чахлый классный надзиратель
 Репетирует ребят:
 Бабкин, чёрт, стоишь, как дятел!
 Грудь вперёд, живот назад...
 Смирно! Смиррна!! Не сморкайся,
 Индюки, ослиный фарш!
 Ряды вздвой! Не на-кло-няйся.
 Бег на месте. Бегом... арш!!
 Спасский, пояса не щупай!
 Кто на правом фланге жрёт?

За-пи-шу! В строю, как трупы, –
Морду выше, грудь вперрёд!
Ать-два, ать-два, ать-два... Лише!
Заморился... Ать-два, ать!
Сундуков – коленки выше,
Бабкин – задом не вилать!
Не пыхтеть, дыши ровнее,
Опускайся на носки,
Локти к телу, прямо шеи...
Не сбивайся там с доски!
Ать-два, ать... Набей мозоли!
Что?! Устал! Не приставай...
Молодчаги! Грянем, что ли...
Запевала, запевай:
 “Три деревни, два села,
 Восемь девок – один я,
 Куды де-эвки, туды я!”

Первые два стиха здесь – обычное авторское “обрамление”, но “подсмотреть” и передать такую забавную сценку поэту помогает именно стихотворный сказ. Развиваясь “здесь и сейчас”, в момент непосредственного взаимодействия общающихся, разговорный монолог естественным образом реагирует на поведение участников “беседы” и тем самым отражает все их поступки, ответные реакции и т.п. Так автор получает возможность в монологической форме разыгрывать целый спектакль – иногда шутливую сценку, собственно игру (см. у того же Саши Чёрного “Про девочку, которая нашла своего Мишку”, “Карточный домик”, “Волшебник”), а порой и напряжённую борьбу, настоящую схватку “общающихся”. Например, в стихотворении Николая Асеева “Стачколомы” (1923):

– Рядами с браунингами
выглядят славненькими,
а мы их сзади за ноги,
глуши их болванками.

Эй, стой, молодчик,
кусаешься, каналья?!
А ну, теперь без лодочки
поплавай-ка в канале.

Что же, что волосы?
И волосы рвутся...
Не шляйся, не шляйся,
Пока не позовут, сам.

Вспомнил мамашеньку?
Взревел как телок?
Ну-ка – иди ищи
в котле свой котелок.

Воссоздание разговорной речи всегда “чревато” диалогическим (шире – собственно драматическим) началом. Любопытно наблюдать, как иногда эта драматическая природа сказового монолога “прорывается наружу”, воплощаясь – уже и в композиционном плане – в “чистые” драматические произведения. Так, в 1907 году И.А. Бунин написал стихотворение “Баба-Яга” – монолог от лица заглавной героини, а много позже, в 1921 году, переделал его в драматическую сценку “Русская сказка”. При этом (что особенно интересно) текст произведения почти не изменился: помимо некоторых стилистических правок, усиливающих “разговорность”, добавлены первые четыре стиха. Но зато нарушена монополия речи Бабы-Яги – вводится самостоятельная речевая партия собеседника (ранее лишь подразумеваемого), так что возникает драматическая миниатюра. Ср. финалы произведений:

Баба-Яга

Я состарилась, изболелась вся –
Десять сот годов берегу ларец!
Будь огонь в светце – я б погрелась,
Будь дрова в печи – похлебала б щец.

Да огонь – в морях мореходу весть,
Да на много вёрст слышен дым от лык...
Чёрт тебе велел к чёрту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

Русская сказка

Яга

Я состарилась, изболела вся,
Сохраняючи чёртов тот ларец!
Будь огонь в светце – я б погрелась,
Будь капустный клок – похлебала б щец.
Да огонь-то, вишь, в океане – весть,
Да не то что щец – нету прелых лык!

Ворон

Чёрт тебе велел к чёрту в слуги лезть,
Дура старая, неразумный шлык!

Не удивительно, что многие поэты обращаются к воссозданию разговорного монолога, прежде всего реализуя его “драматический потенциал” (ещё один ответ на вопрос: “ради чего вводится сказ?”). Сказовая форма оказывается уникальным способом “изображения” в поэзии оригинальных “жанровых картинок”. Например, народного застолья (“Свет Иван, как пить мы станем...” Пушкина), гадания (“Гаданье” Апухтина), карточной игры (“Игра в карты в двенадцатом году” Владимира Высоцкого), телефонной перебранки (“Тирада по телефону” Бориса Слуцкого) и т.д.

Больше всего почему-то “повезло” двум самобытным речевым жанрам. Это, как говорили в старину, “монолог балаганного деда” (ярмарочного зазывалы, торговца) и... колыбельная песня.

В “Кипарисовом ларце” Ин. Анненского (в разделе “Трилистник балаганный”!) нашлось место и для такой раёшной картинки:

Шарики, шарики!
Шарики детские!
Деньги отецкие!
Покупайте, сударики, шарики!
Эй, лисья шуба, коли есть лишни,
Не пожалей пятишни:
Запущу под самое нёбо –
Два часа потом глазей, да в оба!
Хорошо ведь, говорят, на воле.
Чирикнуть, ваше степенство, что ли?
Прикажите для общего восторгу,
Три семьдесят пять – без торгу!
Ужели же менее
За освободительное движение?
Что? Пасуешь?..
Эй, тетка! Который торгуешь?
Мал?
Извините, какого поймал...
Бывает –
Другой и вырастает,
А наш Тит
Так себя понимает,
Что брюха не растит,
А всё по верхам глядит
От больших от дум!..
Ты который торгуешь?
Да не мни, не кум!..

(“Шарики детские”)

Ещё более интересный пример находим у П.А. Федотова (да-да, того самого – художника) – стихотворение под заголовком «Рацея (Объяснение картины “Сватовство майора”»». Кажется, ничего похожего нет во всей русской поэзии. Это действительно “объяснение картины”, причём настолько колоритное, что словесная изобразительность ничуть ни уступает живописному дару художника. Жаль, что нет возможности привести весь текст этого большого произведения, ограничимся фрагментами:

Честные господа,
Пожалуйте сюда!
Милости просим,

Денег не спросим:
Даром смотри,
Только хорошенько очки протри.

Начинается,
Починается
О том, как люди на свете живут,
Как иные на чужой счёт жуют.
Сами работать лентясы,
Так на богатых женятся.

Вот извольте-ко посмотреть:
Вот купецкий дом, –
Всего вдоволь в нём,
Только толку нет ни в чём:
Одно пахнет деревней,
А другое харчевней.
Тут зато один толк,
Что всё взято не в долг,
Как у вас иногда,
Честные господа! <...>

А вот извольте посмотреть,
Как жениха ждут,
Кулебяку несут
И заморские вина первейших сортов
К столу подают.
А вот и самое панское,
Сиречь шампанское,
На подносе на стуле стоит.

А вот извольте посмотреть,
Как в параде весь дом:
Всё с иголочки в нём;
Только хозяйка купца
Не нашла, зная, по головке чепца.
По-старинному – в сизом платочке.

Остальной же наряд
У француженки взят
Лишь вечер для самой и для дочки.
Дочка в жизнь в первый раз,
Как боярышня у нас,
Ни простуды не боясь,
Ни мужчин не страшась,
Плечи выставила напоказ. –
Шейка чиста,
Да без креста.

П.А. Федотов, кстати, написал и “предисловие к картине” – стихотворение “Поправка обстоятельств, или Женитьба майора” (тоже сказовое по форме, но уже от лица самого жениха). В этом же жанре “речей зазывалы” написаны стихотворения таких разных авторов, как А.С. Грибоедов (“Лубочный театр”), Н.П. Огарёв (политическая сатира 1869 года “Восточный вопрос в панораме”), Игорь Северянин (знаменитое “Мороженое из сирени! Мороженое из сирени!..”), Саша Чёрный (стихотворение “Лавочка”).

Наконец, очень интересно представлена в стихотворном сказе колыбельная песня. Вообще-то, разумеется, колыбельная – типичный жанр “чистой” лирики. Однако особенностью сказовой колыбельной песни является её импровизационная основа. На глазах читателя разыгрывается целое “действие”. Например, такое:

Мать уехала в Париж...
И не надо! Спи, мой чиж.
А-а-а! Молчи, мой сын,
Нет последствий без причин.
Чёрный, гладкий таракан
Важно лезет под ди-ван,
От него жена в Париж
Не сбежит, о нет! шалишь!
С нами скучно. Мать права.
Новый гладок, как Бова,
Новый гладок и богат,
С ним не скучно... Так-то, брат!
А-а-а! Огонь горит,
Добрый снег окно пушит.
Спи, мой кролик, а-а-а!
Всё на свете трын-трава...
Жили-были два крота,
Вынь-ка ножку изо рта!
Спи мой зайчик, спи, мой чиж, –
Мать уехала в Париж.
Чей ты? Мой или его?
Спи, мой мальчик, ничего!
Не смотри в мои глаза...
Жили козлик и коза...
Кот козу увёз в Париж...
Спи, мой котик, спи, мой чиж!
Через... год... вернётся... мать...
Сына нового рожать...

Саша Чёрный. “Колыбельная (Для мужского голоса)”

По-видимому, один из первых опытов драматизации этого традиционно лирического жанра принадлежит Жуковскому (см. его “Песня матери над колыбелью сына”), ещё определённое драматическое начало выражено в колыбельной Майкова (первая часть стихотворения “Мать”) и опять-таки самый яркий пример – стихотворение Ин. Анненского “Без конца и без начала (Колыбельная)”. Монолог крестьянки над зыбкой становится формой разыгрываемого представления – потому-то так органичны в этом тексте многочисленные авторские ремарки, превращающие стихотворение в мини-пьесу.

“Песни с декорацией” – именно так озаглавил Анненский самобытный “народный триптих” (цикл “драматических монологов”, в который, помимо названной колыбельной, вошли стихотворения “Гармонные вздохи” и “Колокольчики”) и тем самым очень точно обозначил жанровую природу стихотворного сказа.

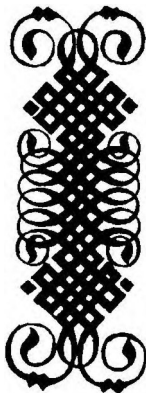
Стихотворный сказ оказывается принципиально межродовым явлением. Непосредственно выражая субъективное сознание индивида, сказ в то же время представляет это сознание в драматической форме – как разыгрываемое на наших глазах действие – и тем самым делает субъекта объектом авторского изображения. Сказовое произведение непременно включает в себя как лирическое, так и драматическое начало, так что справедливо говорить лишь о доминировании одного из них в конкретном тексте – в этом легко убедиться на примере любого из упомянутых стихотворений. Кроме того, следует помнить и об эпических возможностях сказового монолога (“рассказывание” о минувших событиях). В основе такой универсальности – свойства самой разговорной речи, которая в равной мере способна непосредственно выражать какие-либо переживания, сообщать о чём-либо и служить формой взаимобщения.

И последнее. Стоит отметить, что одна из важнейших функций стихотворных сказовых произведений – собственно эстетическая. К сказу в поэзии тяготеют именно те авторы, которые прежде всего **слышат** разноречие мира, чутко внимают **звучанию** повседневного хора людских голосов. Другими словами, к воссозданию форм разговорной речи поэт может обращаться и... ради самих этих форм. Например, чтобы передать красоту и своеобычность простонародного говора, стихию “живого великорусского” языка. Весьма показателен такой, малоизвестный сегодня, факт: в своё время Демьян Бедный, восхищённый богатством, “самоценностью” речевой материи сказов Бажова, создал стихотворные их варианты (“Уральские сказы”, “Мастерство”). В других случаях сказ в поэзии способен вволю насмеяться над косноязычием, уродливостью “речений” героя или пустословием записного краснбая (“Американские русские” В. Маяковского). А иногда – донести до читателя неповторимый колорит, дух разговоров конкретной исторической личности – см. стихотворение Л. Мартынова “Дух творчест-

ва”, основная часть которого – воспроизведение экспрессии живого слова С. Есенина в его беседе с А. Блоком; ср. у современного поэта Вл. Алейникова аналогично выстроенное стихотворение “Художник Анатолий Зверев”.

Формы непосредственного человеческого общения, вообще “человек говорящий” (М.М. Бахтин) – глубоко самобытные явления национальной культуры. Так что сказ оказывается уникальной литературной формой и потому, что сохраняет, запечатлевает эти явления в искусстве.

Калуга





Звук и слово в поэзии Клюева

Г.В. СУДАКОВ,
доктор филологических наук

Большой художник создаёт свой язык. Своеобразие языка и слога – главный признак настоящего мастера. По манере письма, по чувству слова Николай Клюев сходен с Андреем Платоновым: то же знание славянских корневых смыслов, та же языческая непосредственность и бездонная глубина мысли, подтверждающая русский характер его поэзии. Для Н.А. Клюева рано открылась тайна русской речи и волшебство поэтического слова: «О Боже сладостный, ужель я в малый миг / Родимой речи таинство постиг, / Прозрел, что в языке поруганном моём / Живёт Синайский глас и вышний трубный гром, / Что песню мужика “Во зеленых лузах” / Создать понудил звук и тайнозренья страх?!» (“Поддонный псалом”; здесь и далее стихотворные примеры приводятся по кн.: Клюев Николай. Сердце Единорога. СПб., 1999).

Поэтическое мировоззрение Клюева – это мировоззрение человека, исповедующего философию православия в её доникионовском варианте

(“Кто за что, а я за двоеперстие...” – утверждает он в начальных строках стихотворения 1928 года), но в его художественной системе гармонично сосуществуют старая православная традиция и славянский, полужызыческий взгляд на мир.

Приведём в связи с этим фрагмент из “Избяных песен”, написанных поэтом в 1914–1915 годах в память о матери. Этот текст отличается вниманием к похоронному обряду, к народным приметам, к славянской мифологии. Не случайно уже во второй строке появляются журавли: “Четыре вдовицы к усопшей пришли... / Крича, бороздили лазурь журавли...”. Журавль – символ печали, этот фольклорный образ давно перешёл в литературно-письменную традицию. Четыре вдовы совершают предпохоронный обряд: “На одр положили родителя мою”. В связи с этим в окружающей природе чувство печали нарастает и переходит в скорбь: “Как ель под пилою, вздохнула изба, / В углу зашептала тень гурьба, / В хлевушке замукал сохатый телок, / И вздурся, как парус, на грядке платок... (здесь *парус* – образ ухода, прощания. – Г.С.) / Дохнуло молчанье... Одни журавли, / Как витязь победу, трубили вдали...”.

Журавли уносят душу матери к райским берегам: “Мы матери душу несём за моря, / Где солнцеву зыбку качает заря, / Где в красном покое дубовы столы / От мис с киселём, словно кипень, белы, – / Там Митрий Солунский, с Миколою Влас / Святых обряжают в камлот и в атлас, / Креститель Иван с ендовы расписной / Их поит живой иорданской водой!..” Обратим внимание на крестьянское представление о рае: рай по-русски – это, конечно, пищевое довольство, расписные ендовы, миски с киселём. Но главное – праведники попадают в окружение святых, хранителей русской земли и крестьянского благополучия: это Иоанн Креститель, Николай Мерликийский, Дмитрий Солунский, Власий Севастийский.

Стих Клюева полон мысли о преодолении печали. Скорбный крик журавлей (“Крича, бороздили лазурь журавли...”) вдруг сменяется трубными звуками победы: “...Журавли, / Как витязь победу, трубили вдали...”. Почему же русская победа так близка к чувству печали? Глагол *победовать* – по Далю – значит “много вынести, претерпеть беды”. *Победить* – превозмочь беду, *по-беда* – то, что наступает после беды. Для русского сознания победа – сложное явление. Когда русский переживает что-то: врага, болезнь, тяжёлое душевное состояние, он прежде всего облегчённо вздыхает после испытания бедой, но и скорбит о том добром, что утратил во время беды. Русская победа – это облегчение, выстраданное в беде, “праздник со слезами на глазах”.

Христианское отношение к смерти дорогих людей – безропотность; приведу в связи с этим фрагмент проповеди Иоанна Златоуста об умерших: “Смерть бо мужю правдиву покои есть. – / Не мним бо погыбающе тех, / иже отходять к богу, / Праведный убо бог, / Правду бо видев

я творяща, / и в правде покоить я” (цит. по кн.: Верещагин Е.М. Христианская книжность Древней Руси. М., 1996. С. 43; перевод: “Кончина праведного человека – для него обретение покоя. Не сокрушайтесь об умерших, которые уходят к богу. Бог справедлив: кто жил праведно, праведно же и будет покоиться”).

Крик журавлей в “Избяных песнях” прозвучит затем остаточной грустью ещё трижды как перекатное эхо: в шестом стихотворении цикла есть строка “А там, где святые росой прошли, / С курлыканьем звонким снуют журавли...”; в восьмом все ещё “громов размывчивей гомон журавлей”; в девятом поэт наблюдает “журавлиный пролёт, ропот ливня вдали”, но вспоминает мать светло, без скорби: “Над избою кресты благосенных вершин... / Спят в земле дед и мать...”. И, наконец, в одиннадцатом стихотворении читаем: “Изба дремлива, словно зыбка, / Где смолкли горести и боль”.

Поэт был очень внимателен к звуку и к слову. Он проследил в своих стихах все моменты зарождения и выражения поэтической мысли. Слово в звуке и в букве, слово как Глагол (осмысленная и произнесённая речь), слово как Книга (рукописная или печатная) – вот ипостаси проявления его творчества. Поэт различает три стадии рождения текста: слово изречённое (“звукоцвет”) – слово рукописное – слово печатное. Он имел развитый слух, улавливал светлый, вдохновенный звук и придавленный недозвук, полужвук, слышал мёртвый звук железа и живое пение старухи над колыбелью внука: «Звук ангелу собрат, бесплотному лучу, / И недруг топору, потёмкам и сычу. / В предсмертном “ы-ы-ы!...” таятся полужвук, / <...> Но крик железа глух и тяжёлый, как валун, / Ему не свить гнезда в блаженной роще струн. / Над зыбкой, при свече, старуха запоёт, / Дитя, как злак росу, вливает певчий мёд, / <...> Но некая свирель томит с тех пор меня; / Я видел звука лик и музыку постиг, / Даря уста цветку, без ваших ржавых книг!» (“Земля и железо”).

Клюев слышит глухое “до” и огневое “фа”, жалеет, что “Ах, вы сени” обернулись в бар» (“Мы старее стали на пятнадцать...”), что “над суздальскою божницей / Издевается граммофон...” (“Родина, я грешен, грешен ...”). Его поэтические сравнения часто имеют в основе наблюдения над гармонией звуков: “Шмелиной цитрой меж цветов / Теленькают воспоминанья”, “то в зале сердца вальс забытый” (“О чём шумят седые кедры”).

На какую мелодию настраивает свою лиру поэт? Более всего его привлекает одноголосое пение без музыкального сопровождения: песня девушки в поле, дорожная ямщика, колыбельная матери, “песня про снежки пушисты, / Что ненавидят коммунисты!” (“Песнь о великой матери”).

Поэтическим символом родины Клюев избирает “свирель, что тайной голосиста” (“Мужицкий лапотъ свят, свят, свят!”), “Чтоб насыщался человек / Свирелью, родиной, овином...” (“Разруха”), “под дудочку

свирельную / Сложит новую бывальщину” (“Песня о Соколе и о трёх птицах Божиих”).

Второй по значимости символ – это гусли, вспомним поэтический девиз древнерусского книжника Даниила Заточника: “Востани, псалтыр и гусли”. Гусли – символ поэтического дара, волшебного слова: “Не в бою, а в гусях нам удача...” (“Сготовить деду круп, помочь развесить сети...”).

Идеалом поэзии для Клюева являются песни царя Давида, в стихотворении, посвящённом Н.А. Обуховой, он пишет: “Ублажала ты песней царя Давида, / Он же гусями вторил взрыдам. <...> А мы, холуи, зенки пялим, – / Не видим крыл в заревом опале, / Не слышим гуслей царя Давида...” (“Баюкало тебя райское древо”). Клюевские “гусли царя Давида” – это то же, что “псалтыр и гусли” Даниила Заточника. “Гусли-лебеди”, “гусли – глубь Онега”, гусли – “мужицкая лира” – вот сравнения из стихов поэта.

У Клюева звучат разные музыкальные стихии, разные инструменты. Из духовных, помимо свирели, слышна флейта, жалейка, волюнка, труба. Кстати, стих и труба входят у него в одну поэтическую парадигму: “Поют хрустальною трубой / Во мне хвоя, в тебе наливка...” (“Поэту Сергею Есенину”); “Самоедская рдяная медь / Небывалую трубит хвалу” (“Я построил воздушный корабль...”). Упоминает Клюев и дудку, жалейку, кларнет и валторну. А вот к гармонике и тальянке отношение было неодинаковым. С одной стороны, “гармонь звончатая”, с другой – “размыкушка-гармоника” (“Недозрелую калинушку...”), “я люблю ... гармонику в потёмки” (“Я люблю цыганские кочевья...”). Тальянка – тоже вестница разлуки, но вестница злая, посланница беды: “В белой горенке у протопопа / Заливается тальянка злая” (“Петухи горланят перед солнцем...”); “Захлебнулась тальянка горячею мглой, / Голосит, как в поминок семья по родной: / “Та-ля-ля, та-ля-ля, ти-ли-ли. <...> Чует медное сердце моё, / Что погубит парнюгу ружьё, / Что от пули ему умереть, / Мне ж поминные приплачки петь!...” <...> Медным плачем будя тишину, / Насулила тальянка войну” (“Луговые потёмки, омежки, стога...”). А вот ещё один образ тальянки: “А горенке по самогонке / Тальянка гиблая орёт – / Хозяев новых обиход” (“Погорельщина”). Видно, ни новых хозяев, ни гиблой тальянки Клюев не любил.

В группе струнных чаще всего звучат гусли-“самогуды”, упоминается лира, есть “коринфская арфа”. С цикла “Ленин” появляется зурна как рефлексия поэта на интернациональную идею. Несколькоими употреблением отмечены слова *мандолина*, “вопли скрипки”, “Вольгова домбра”, “волшебная лютня”. Балалаечную музыку поэт оценивает как несерьёзную, не случайно её звуки вытесняются заутренним звоном: «Балалайкою в трубе / Заливается бесёнок: / “Трынь да брынь, да терс-рень...” / Чу! Заутренние звоны! / Богородицына тень, / Просияв, сошла с иконы» (“Избяные песни”).

Гитару Ключев упоминал трижды, так охарактеризовав среду её бытования: “Лучше пунш, чиновничья гитара, / Под лунной уездная тоска” (“Не хочу коммуны без лежанки...”); “Радонеж, Самара, / Пьяная гитара / Свилися в одно... / Мы на четвереньках, / Нам мычать да тренькать / В мутное окно!” (“Погорельщина”). Правда, есть у него стихотворение “Гитарная”, относящееся к 1921 или 1922 году и опубликованное 22 октября 1925-го в “Красной газете”, но на наборном экземпляре этого текста, хранящемся в Институте русской литературы, поэт сделал такую приписку: “Это ненавистное мне стихотворение печатаю только по просьбе моего друга Н. Архипова”.

Среди других звуков мира поэта привлекала и музыка ударных инструментов: это сигналы колокола, удары барабана, гром литавр и тамбурина, звон кимвалов и цимбал.

К слову у поэта было сакральное отношение; поэтическое слово – это Глагол, пророчество, вещее слово: “Верен ангела глаголу, / Вдохновившему меня, / Я сошёл к земному долу, / Полон звуков и огня” (“Я был в духе в день воскресный...”). Поэтическое произведение творится как литургия, см. в стихотворении “Шепчутся тени-слепцы” (1916): “К кудрям пытливым склонюсь, / Тайной дохну на ресницы, / Та же бездонная Русь / Глянет с упорной страницы. / Светлому внуку незрим / Дух мой в чернильницу канет / И через тысячу зим / Буквенным Сирином станет”. Сирин – райская птица, вестник радости.

В начале творческого пути Ключев писал гладкие, правильные стихи, легко воспринимаемые на слух. С возрастом у него формируется иная манера письма, в основе которой, как у древнерусского книжника, священное отношение к изречённому поэтическому слову – проявлению божьего произвола. Его поэт пишет “на свитках глаголы судьбы”, строчки у него – перья вещей птицы Алконоста. Ключева привлекает эпоха и дух рукописной богослужебной книги: “Потянуло в мир лесто-вок, часословов заплаканных, / В град из титл, где врата киноварные...” (“По керженской игумень Манёфе...”). Вот как описан лист с выходными данными в такой книге: “В пергаментных Святках есть лист выходной, / Цветя живописной поблекшей строкой: / Творение рая, Индикт, Шестоднев, / Писал, дескать, Гурий – изограф царев. / Хоть титла не в лад, но не ложна строка, / Что Русь украшала сновидца рука!” (“Песнь о великой матери”).

По мысли православного поэта, любой труд совершается по воле Божьей. И он желает вдохновляться примером тех избранников Божьих, которые прославились красноречием: “Господи, благослови, / Царь Давид, помоги, / Иван Богослов, / Дай басеньких слов...” (“Беседный наигрыш, стих доброписный”). Сотворение стиха, книги – это одновременно песнотворчество и волхование. Если перо – предмет, покорный человеку, то бумага (“колдунья-бумага”) хранит тайну и не сразу покоряется мастеру: “Как бы в стихи, золотые, как солнце, / Впрямь волхо-

ванье и песенку ту? / Строки и буквы – лесные коряги, / Ими не вышить желанный узор... / Есть, как в могилах, душа у бумаги – / Алчущим перьям глубинный укор” («Умерла мама» – два шелестных слова»).

Божественное слово для поэта чаще всего представлено в рукописной книге. Набранное типографским шрифтом, священное слово охлаждается железом, теряет своё тепло: “Как лист осиновый все писания, / Все книги и начертания: / Нет слова неприточного, / По звуку неложного, непорочного; / Тяжелы душе писанья видимые, / И железо живёт в буквах библий!” (“Поддонный псалом”). Печатная книга – это “ржавая книга”, товар для “пиджачного читателя”, то есть человека, утратившего связь с традиционной культурой. У “пиджачного читателя” нет понимания святости книги, нет сознания прикосновения к тайне: “у пиджачного человека / Не гнездятся в сердце орлы” (“На помин олбонецким бабам...”).

Особую неприязнь испытывает поэт к газетному слову (“газеты-блудницы” – образ из стихотворения “Я родился в вертепе...”), он сравнивает его с собачьей брехнёй: «“Гам, гам, гам”, – скулят газеты...»; “Скука... на страницах пёсьих” (“Счастье бывает и у кошки...”); «Не свалить и в “Красную газету” / Слов щепу, опилки запятых. / Ненавиستن мудрому поэту / Подворотный, твякующий стих» (“Не хочу коммуны без лежанки...”); “А стая поджарых газет / Скулила: “Кулацкий поэт!”» (“Плач о Сергее Есенине”); “Не ищите меня на рынке, / Где ярятся бесы-машины, / Где, оскалья шрифтные зубы, / Ввизгивает газета!..” (“Тридцать три года, тридцать три...”). Тлетворное влияние газеты он сравнивает с зарослями ядовитых деревьев (ср. пушкинский образ анчара): “Не свивают гнёзд жаро-птицы / По анчарным дебрям газет” (“Узорные шаровары...”).

Оценку отношение Клюева к букве. Буква для него – не только элемент слова. В семь лет мать научила его читать, используя для этого лицевой Часослов. Порядок обучения чтению по Часослову был таким: вначале узнавание букв и произнесение одного за другим их названий, затем – составление слова из начальных звуков названий букв. См. пример из цикла “Ленин”: “На скале задремали руны: / *Люди с Естью, Наши, Иже, Еры*” (поэт так пытается передать слово *Ленин*, но букву *Наши* он не стал повторять дважды). Сравнивая книгу с полем, поэт снова использует названия букв: “О буквенный дождик, капай / На грудь родимого поля! / *Глаголь*, прорасти васильками, / *Добро* – золотой медуницей, / А я обнимусь с корнями / *Землёю* – болезной сестрицей!” (“Дремлю с медведем в обнимку...”).

В православной традиции буква как средство проявления слова есть знак Божьей воли, это Бог подсказал Кириллу его азбуку. Судя по всему, поэт знал о существовании Азбучной молитвы, в которой старославянские имена букв были для каждой очередной строчки начальными словами или начальными слогами первых слов. Автором этой молитвы

считают Константина Преславского – первого славянского поэта, одного из учеников Кирилла и Мефодия. Поэтому и Клюев в подражание Азбучной молитве в “Поддонном псалме” создаёт такой фрагмент: “Азъ Богъ Ведаю Глаголь Добра – / Пять знаков чище серебра; / За ними след: *Есть Жизнь Земли* – / Три буквы – / С золотом корабли...”.

Упоминаются и названия знаков препинания, но как элементы позднего происхождения, придуманные человеком без воли Божьей, как простые технические средства: “караван пёстрых тире”, “кавычки – стада холмогоров”, “запятые – медвежий след”, “запятые, как осетры”, “свернулась гадюкою точка”, “семья двоеточий”.

Поэт считал древнюю книгу, её слог и поэтические приёмы образцом для подражания: “учился я по кожаной Триоди / Дум приборю, слов колоколам...” (“Соловки”); “От иконы Бориса и Глеба, / От стригольничего Шестокрыла / Моя песенная потреба, / Стихов валунная сила” (“От иконы Бориса и Глеба...”). См. ещё примечательное противопоставление: “Древо песни бурею разбито, – / Не Триодь, а Каутский в углу” (“На божнице табаку осьмина...”).

Характер клюевского письма сравним с такой вершиной древнерусского мастерства, как стиль “плетения словес”, но, разумеется, в преобразованном варианте. Для поэта, хорошо знавшего историю русского православия и традиции древнерусской письменности, манера древнерусского книжника была понятна как в её фидеистическом, так и в художественном плане. Стоит учесть такое его признание: “Двенадцать снов царя Мамера / И Соломонова пещера, / Аврора, книга Маргарит, / Златая Чепь и Веры щит, / Четвёртый свиток белозерский, / Иосиф Флавий – муж еврейский, / Зерцало, Русский виноград – / Сиречь Прохладный вертоград, / С Воронограем список Вед, / Из Лхасы шелковую книгу / И гороскоп – Будды веригу / Я прочитал в пятнадцать лет...” (“Песнь о великой матери”).

В соответствии с православной традицией весь мир пронизан Словом и в то же время всё существующее в мире воспроизводит образ Божий, наш мир иконичен, он похож на лестницу образов, которые наподобие зеркал отражают друг друга, а в конечном итоге отражают Бога как единственный первообраз. Символ лестницы (“лествицы”) типичен для христианской картины мира и для православной древнерусской книжности. Особенно выразительно отразился принцип “лествицы” в стиле “плетения словес”.

Если “плетение словес” отличается обилием синонимов (“словесная сытость”), то у Клюева – обилие метафор, характеризующих одно и то же понятие. Там весь синонимический ряд, иногда до трёх десятков номинаций, приводится сразу (см., например, Житие Стефана Пермского, написанное Елифанием Премудрым – теоретиком и практиком “плетения словес”), и Клюев весь строй метафор при характеристике явления использует подряд. Возникает ощущение работы живописца, накладывающего

вающего один мазок на другой. Например: “Деревня – сон бревенчатый, дублёный, / Овинный город, прозелень иконы, / Колядный вечер, вьюжный и калёный. / Деревня – жатва в косах и в поныве, / С волынкою о бабьей лютой славе, / С болезною кукушкою в дубраве! / Деревня – за кибиткой волчья стая – / Вот-вот настигнет, сердце разрывая, / Ощеренной метелицею лая! / Свекровь лихая – филин избяной, / Чтоб очи выклевать невестке молодой. / Деревня – саван, вытканый пургой, / Для солнца упокойник костяной”. Далее в этом стихотворении следует ещё одна строфа, построенная таким же образом – всего 15 развёрнутых метафор к понятию “деревня”. Подобным образом построены стихотворения “Кнут Гамсун – сосны под дождём...”, “Годы” и др.

В парадигме ключевских метафор сосуществуют как традиционные образы – символы, так и новые, нетрадиционные. Каждое ключевое слово у него увешано гроздьями слов-образов, взятых из мира птиц и зверей, деревенской избы и сельского храма, музыки и мировой географии.

В этих рядах сравнений, развёрнутых метафор есть порядок и логика, преднамеренность и осмысленность. У Клюева свои приёмы создания семантического пространства: смысл наращивается ступенчато, от образа к образу, очертания его меняются на каждом метафорическом шаге. Его сравнения связаны с русским фольклором, древнерусской книжностью, богослужебными книгами. Он не надеялся, что будет сразу правильно понят: “Ах, кто же в святорусском твёрд – / В подблюдной песне, Алконосте?” (“Мне революция не мать...”).

Да, тексты Клюева сложны. Учитывая старокнижную традицию, являющуюся их основой, эти тексты надо читать, как читали наши предки древние книги: *прилежно и всем сердцем, со многим прилежанием, и тогда поймешь их силу* (Иоанн Златоуст).

Вологда



ПОВЕСТЬ БЕЗ ГЕРОЯ

Развитие образа в художественном тексте¹

Л.А. НОВИКОВ,
доктор филологических наук

Литература как словесное искусство имеет самый гибкий и подвижный материал – психические представления, которые формируются на основе имеющегося у писателя и читателей опыта. Гегель подчёркивал в “Лекциях по эстетике”, что “настоящим элементом поэтического изображения является поэтическое *представление* и сама создающаяся в духе наглядность”: “Композитор, например, может лишь в мелодиях высказать свои переживания и думы, и то, что он чувствует, у него непосредственно превращается в мелодию, подобно тому как у живописца оно превращается в фигуру и краски, а у поэта – в поэзию представления, облекающую свои создания в благозвучные слова” (Гегель. Сочинения. М., 1938. Т. XII. С. 93, 294).

¹ Исследование осуществляется при поддержке Российского гуманитарного научного фонда (РГНФ), проект 99-04-00130а.

Художественные образы текста воплощаются в системе словесных образов, которые могут состоять из отдельного слова, сочетания слов, абзаца, главы и даже целого литературного произведения. Словесный образ “всегда является эстетически организованным структурным элементом стиля литературного произведения” (Виноградов В.В. Стилистика. Теория поэтической речи. Поэтика. М., 1963. С. 119). Такие слова и их комбинации становятся эстетически переживаемыми знаками с подвижными смыслами. В этой связи особую значимость приобретает замечание, сжато выраженное А. Шопенгауэром: “Самое простое и правильное определение поэзии казалось бы мне такое: искусство действовать словами на фантазию” (Шопенгауэр А. Мир как воля и представление. М., 1901. Т. II. С. 436). Так как материалом образов поэзии является воображение читателя, она имеет преимущество перед другими видами искусства в том, что в наибольшей степени отвечает индивидуальности каждого человека, живее всего действует на его восприятие при передаче деталей, тонкостей и оттенков произведения: “создания поэзии производят гораздо более сильное впечатление, чем картины и статуи” (Там же).

Несмотря на свою “зыбкость”, словесные образы, как и обозначаемые ими персонажи, предметы, события и т.п., образуют в общей структуре литературного произведения вполне определённую систему. С одной стороны, они противопоставляются по форме и содержанию с точки зрения их сходства и различия, то есть ассоциативно, парадигматически, например: *Онегин – Татьяна*, *Онегин – Ленский*; *Моцарт – Сальери* у Пушкина, с другой, каждый из них развивается линейно (синтагматически), вступая по мере развёртывания текста во всё новые связи с различными словесными рядами. Поэтому каждый из таких образов может рассматриваться одновременно и как соотнесённый с другими (см.: Новиков Л.А. Оппозитивный метод в поэтике // Структура и семантика художественного текста. М., 1999. С. 269–279), и как эволюционирующий.

Словесный образ – диалектически противоречивая сущность: в каждый данный момент он и равен и не равен себе, устойчив и одновременно подвижен, несёт в себе “зародыш” развития. Так, словесные образы, характеризующие Онегина в первых главах романа, ощутимо эволюционируют, а в восьмой главе резко контрастируют с исходными, что находит выражение в речи лирического повествователя (от третьего лица), в прямой и несобственно-прямой речи, в оценках лирического героя (от первого лица): *Чего ж вам больше? Свет решил, / Что он умён и очень мил – Мне нравились его черты, / Мечтам невольная преданность, / Неподражательная странность / И резкий, охлаждённый ум – “Супружество нам будет мукой. / Я, сколько ни любил бы вас, / Привыкнув, разлюблю тотчас” → Ужель та самая Татьяна, / <...> Та девочка, которой он / Пренебрегал в смиренной доле <...>? –*

Сомнения нет: увы! Евгений / В Татьяну как дитя влюблѣн ... – “Нет, поминутно видеть вас, / Повсюду следовать за вами {...} / Блѣднѣть и гаснуть... вот блаженство!” – Примчался к ней, к своей Татьяне / Мой неисправленный чудак. / Идѣт, на мертвеца похожий.

Речевые характеристики Татьяны представляют собой обратное, “зеркальное” отражение развития отношений главных героев романа: *Дика, печальна, молчалива, / Как лань лесная, боязлива, / Она в семье своей родной / Казалась девочкой чужой. – Душа ждала... кого-нибудь, / И дождалась... Открылись очи; / Она сказала: это он! – “Я не больна: / Я... знаешь, няня... влюблена”. – “Другой!.. Нет, никому на свете / Не отдала бы сердца я! / То в вышнем суждено совете... / То воля неба: я твоя” – Увы, Татьяна увядает; / Блѣднеет, гаснет и молчит! – Простите мне: я так люблю / Татьяну милую мою! → Как изменилась Татьяна! / Как твёрдо в роль свою вошла! – Кто б смел искать девчонки нежной / В сей величавой, в сей небрежной / Законодательнице зал? – Она его не замечает, / Как он ни бейся, хоть умри. / Свободно дома принимает, / В гостях с ним молвит слова три, / Порой одним поклоном встретит, / Порою вовсе не заметит – “Я вас люблю (к чему лукавить?), / Но я другому отдана; / Я буду век ему верна”.*

Словесные образы как “языковая ткань” объектов художественного изображения, обогащаясь содержательно в композиционно-речевой структуре произведения, тесно взаимодействуют с контекстом, взаимно влияя друг на друга и тем самым наглядно раскрывают развитие литературных образов.

Воздействие контекста на словесное выражение образа, а также процесс его формирования и развития становятся особенно ощутимыми в произведениях “без героя”, когда последний по существу – “нулевой персонаж”, лишѣнный существования в поэтической (моделируемой) реальности. Он развивается не сам по себе, а, будучи включѣнным в композиционную структуру текста, систему образов, отражает их в себе, и наполняется содержанием в речи повествователя и различных персонажей. Иными словами, он определяется прежде всего через других, являясь в то же время мерилom их оценки.

Такова историческая повесть “Подпоручик Кижѣ” Юрия Николаевича Тынянова (1894–1943), известного русского писателя, литературоведа и теоретика поэтического языка, опубликованная в 1928 года.

Повествование о многострадальном Кижѣ – это исторический анекдот о карьере несуществующего офицера, вырастающий в символический образ поддельности, мнимости и пустоты российской действительности времѣн Павла I, когда всё было подчинено тупой армейской дисциплине, беспрекословному исполнению самых бессмысленных и нелепых приказов.

Герой повести появляется на свет случайно и неожиданно – в чине подпоручика. У него поистине “лингвистическое” рождение. Молодой

и неопытный писарь канцелярии Преображенского полка не успевал к сроку переписать приказ, который адъютант должен был вместе с другими бумагами отвезти во дворец императору. Опоздание было преступлением. Руки писаря дрожали. В спешке он сделал две ошибки: поручика Синюхаева записал умершим, так как он стоял сразу после покойного майора Соколова, а вместо “Подпоручики же Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются” написал: “Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются”. Когда он писал слово *подпоручики*, неожиданно вошёл офицер, и писарь вытянулся перед ним, остановясь на букве *к*, а потом, снова сев за приказ, напутал и написал: “Подпоручик Киже”. Вдобавок к этому от волнения он посадил на приказ большую кляксу. Писарь знал, что, если к шести часам приказ не будет готов, адъютант крикнет: *взять*, и его возьмут...

“Приказ по гвардии Преображенскому полку, подписанный императором, был им сердито исправлен. Слова: *Подпоручик Киже, Стивен, Рыбин и Азанчеев назначаются* император исправил: после первого *к* вставил преогромный *ер*, несколько следующих букв похерил и сверху надписал: *Подпоручика Киже в караул*” (Тынянов Ю.Н. Подпоручик Киже. Л., 1930. С. 17–18; далее – только стр.). В “сером аккурате” солдатского Санкт-Петербурга приказ монарха нельзя было не выполнить, поэтому Киже уже не мог не родиться и не жить. Офицер с такой фамилией в Преображенском полку не значился. Но приказ императора должен быть исполнен. Началось большое смятение, которое прервал адъютант императора, медленно сказав растерянному командиру полка:

“ – Императору не доносить. Считать подпоручика Киже в живых. Назначить в караул ” (19).

Контекст постепенно формирует словесные образы несуществующего героя, в котором отражаются окружающие его персонажи. Итак, Киже появился на свет как о ш и б к а, о п и с к а обеспокоенного писаря.

Император Павел Петрович пребывает в “великом гневе”: он не может дознаться, кто вчера в послеобеденный час кричал под окном “караул”, нарушая его сон, “когда пища медленно борется с телом” и “были запрещены какие-либо беспокойства”. Ловкий и находчивый адъютант докладывает Павлу Петровичу:

« – Ваше величество. “Караул” кричал подпоручик Киже.

– Кто таков?

Страх становился легче, он получал фамилию.

Этого вопроса адъютант не ждал и слегка отступил.

– Подпоручик, который назначен в караульную службу, ваше величество.

– Для чего кричал? – император притопнул ногой. – Слушаю, сударь. Адъютант помолчал.

– По неразумию, – лепетнул он.

– Произведи дознание и, бив плетью, пешком в Сибирь» (31–32).

Словесные образы, стремительно развиваясь, вырисовывают печальный облик несуществующего героя. Сначала подпоручик был ошибкой, которую можно было бы не заметить.

“Придирчивый глаз Павла Петровича её извлёк и твёрдым знаком дал ей *сомнительную жизнь* – о п и с к а стала п о д п о р у ч и к о м, без лица, но с фамилией.

Потом в прерывистых мыслях адъютанта у него *наметилось и лицо*, правда – *едва брезжащее, как во сне*. Это он крикнул “караул” под двorcовым окном.

Теперь это *лицо отвердело и вытянулось*: подпоручик Кижe оказался з л о у м ы ш л е н н и к о м, который был осуждён на дыбу или, в лучшем случае, кобылу – и Сибирь. Это уже была действительность.

До сих пор он был б е с п о к о й с т в о м писаря, р а с т е р я н н о с т ь ю командира и н а х о д ч и в о с т ь ю адъютанта.

Отныне кобыла, плети и путешествие в Сибирь были *его собственным, личным делом*” (34; разрядка и курсив здесь и далее в тексте повести наши. – Л.Н.).

Развитие номинаций образа (разрядка), образующих парадигму, сопровождается их специфической сочетаемостью, обнаруживающей присутствие лица (курсив).

Сцена наказания Кижe изображается острaнённo, через “непонимание события” и потому “по-особенному” (Шкловский В.Б. Материал и стиль в романе Льва Толстого “Война и мир”. М., 1928. С. 109): “В стороне уже стояла наготове кобыла, и двое гвардейцев захлестнули её ремнями в головы и по ногам. Двое гвардейцев, с обеих сторон, хлестали семихвостками по гладкому дереву, третий считал, а полк смотрел.

Так как дерево было отполировано уже ранее тысячами животов, то кобыла казалась не вовсе пустою. Хотя на ней никого не было, а всё же как-будто кто-то и был. Солдаты, нахмура брови, смотрели на молчаливую кобылу, а командир к концу экзекуции покраснел, и его ноздри раздулись, как всегда” (35).

Образы словесного искусства как поэтические представления, по определению Гегеля, гибки и подвижны: по своей природе они семантически и эстетически значимые “колеблющиеся признаки” (Тынянов Ю.Н. Проблема стихотворного языка. Статьи. М., 1965. С. 128). Их неопределённость становится источником творческого эстетического восприятия. Объект художественно моделируемой действительности – мнимый, “приблизительный” предмет, который существует “по модусу к в а з и, – он не есть, но как бы есть, как если бы было, как б у д т о” (Шпет Г.Г. Внутренняя форма слова. М., 1927. С. 176).

Языковой образ – квазипредмет (от *лат. quasi* – якобы, как будто).

Он всегда многолик и подвижен: Кижe и не существует, но вместе с тем как включённый в систему образов повести и существует.

Картину “экзекуции” на пустой кобыле такой, какая она есть, воспринимает (можно сказать, антиостранённо) молодой солдат, которого “недавно забрили”: “Он думал, что всё происходящее – дело обыкновенное и часто совершается на военной службе” (35).

Кижe ведут в Сибирь. Часовые шли прямо “и с опаскою посматривали на в а ж н о е п р о с т р а н с т в о, ш е д ш е е между ними” (44). Одушевлённость нового словесного образа подчёркивается его сочетаемостью с причастием.

Странно только было, что не слышно звона цепей и не нужно подгонять прикладами ссыльного. “Но потом они подумали, что дело казённое и бумага при них” (Там же). Столкновение “нулевого персонажа” с обычными создаёт эстетически значимый эффект неправдоподобия: “На первом посту зритель посмотрел на них (часовых. – Л.Н.), как на сумасшедших, и они смутились. Но старший показал бумагу, в которой было сказано, что а р е с т а н т с е к р е т н ы й и ф и г у р ы не имеет...” (Там же). Кижe отводят для ночлега особую камеру. Постепенно конвоиры “начали понимать, что сопровождают в а ж н о г о п р е с т у п н и к а. Они привыкли и значительно говорили между собой: “он” или “оно”. (...) И пустое пространство, т е р п е л и в о ш е д ш е е между ними, менялось: то это был в е т е р, т о п ы л ь, т о у с т а л а я, с б и в ш а я с н о г з а р а позднего лета” (47).

Прошло время, и император Павел I сменил гнев на милость: он приказывает подпоручика Кижe, “в Сибирь сосланного, вернуть, назначить п о р у ч и к о м” и женить на фрейлине Нелидовой. Когда Кижe вернулся из Сибири, о нём знали уже многие. Командир без всякого стеснения назначал его то в караул, то на дежурства. Кижe был исправный офицер, “потому что ничего дурного за ним нельзя было заметить” (62). В общей системе (парадигме) образов “нулевой герой”, хотя он и ничего не делает, оказывается нравственно выше других, рассудительнее их. В нём, как в зеркале, отразился дурной строй империи Павла I и аракчеевский палочный режим, “кривые рожи” их правителей и исполнителей.

Развитие художественного образа – сложный процесс в развёртывающейся композиционной структуре текста, в которой всё настолько тесно взаимосвязано, что даже “нулевой персонаж” (мнимый герой) не может не эволюционировать, приобретая зримые черты образа.

Перебирая полковые списки, император наткнулся “на имя поручика Кижe и назначил его к а п и т а н о м, а в другой раз п о л к о в н и к о м. Поручик был исправный офицер” (63). Кижe жил незаметно, и к этому все скоро привыкли. В его кабинет заносили донесения и приказы и не очень удивлялись отсутствию полковника. Лучшее всего чувствовала себя в огромной двуспальной постели фрейлина Нелидова.

Муж продвигался по службе. “Иногда с у п р у ж е с к о е м е с т о полковника согревалось каким-нибудь поручиком, капитаном или же статским лицом” (63).

Наступает стремительный взлёт в “карьере” Кижe: “Наутро Павел Петрович просматривал приказы. Полковник Кижe был внезапно произведён в г е н е р а л ы. Это был полковник, который не кланчил имений, не лез в люди за дяденькиной спиной, не хвастун, не щелкун. Он нёс службу без ропота и шума” (72). Император пожаловал генералу Кижe усадьбу, тысячу душ и дал указание “погодить его обременять” дивизией, так как он “потребен на важнейшее”.

Внезапное возвышение Кижe вынудило высший свет “вспомнить” несуществующего генерала, лишний раз обнаружив своё лицемерие, и “дорисовать” портрет героя:

“Обер-камергер Александр Львович Нарышкин вспоминал генерала:

– А, ну, как же, полковник Кижe... Я помню. Он махался за Сандуновой...

– На маневрах под Красным...

– Помнится, родственник Олсуфьеву, Фёдору Яковлевичу...

– Он не родственник Олсуфьеву, граф. Полковник Кижe из Франции. Его отец был обезглавлен чернью в Тулоне” (73).

Генерал Кижe был вызван во дворец. В тот же день императору донесли, что генерал тяжело заболел. На третий день генерал Кижe скончался, так как он не мог предстать перед императором. Его “смерть” была такой же неожиданной, как и “рождение”.

Кижe хоронят со всеми генеральскими почестями.

“Когда процессия проходила мимо замка Павла Петровича, он медленно, сам-друг, выехал на мост её смотреть и поднял обнажённую шпагу.

– У меня умирают л у ч ш и е л ю д и.

Потом, пропустив мимо себя придворные кареты, он сказал по-латыни, глядя им вслед:

– Sic transit gloria mundi” (76).

Абсолютная пустота оказывается высшей ценностью в уродливом самодержавном обществе, а мнимый герой – лучшим из людей, потому что он в силу условности своего существования остаётся человеком с чистой и светлой душой, не испорченным миром крепостничества, солдафонства и муштры. Кижe необходим автору как отправная точка критики этого мира.

Развитие центрального образа повести и его постепенное очеловечивание выражается в виде цепочки номинаций, образующих парадигму: **беспокойство и описка писаря** → **растерянность командира** → **находчивость адъютанта** → **подпоручик** → **злоумышленник** → **секретный арестант** → **важный преступник** → **важное пространство** → **пустое**

пространство (ветер, пыль, жара) → поручик → капитан → полковник → супружеское место → генерал → один из лучших людей и др. Каждый из таких словесных образов, соотносимых с одним и тем же персонажем, контекстуально обусловлен и является результатом развёртывания структуры текста. Персонификация некоторых предметных номинаций выражается в специфической сочетаемости (синтагматике): *пространство, шедшее между ними; усталая, сбившаяся с ног жара* и т.п.

Главный герой повести оттеняется другим – образом поручика Синюхаева, которого молодой неопытный писарь по ошибке написал умершим. По законам монаршей столицы несуществующий Киже должен быть жить, а живой Синюхаев – умереть. Таков был подписанный императором приказ. “Поручика Синюхаева, как умершего горячкой, считать по службе выбывшим”, – читал приказ командир и вдруг “невольно посмотрел на то место, где всегда стоял Синюхаев, и рука его с бумажным листом опустилась”.

Синюхаев стал сомневаться, жив он или нет: “он как-будто и был жив, но вместе с тем он знал, что здесь что-то неладно, что-то неисправимо испорчено. Он ни разу не подумал, что в приказе ошибка. Напротив, ему показалось, что он по ошибке, по оплошности жив” (23).

Анализ литературного произведения “без героя” позволяет понять, как художественное слово писателя, развиваясь и многократно отражаясь в структуре текста, становится способным создать яркий, запоминающийся образ даже тогда, когда обычного персонажа вовсе нет.





Из творческого наследия Д.А. Шаховского

И... с детских лет была дана мне милость
Знать русской красоты неуловимость.

Д. Шаховской. Упразднение месяца

Дмитрий Алексеевич Шаховской происходил из старинного дворянского рода, восходящего к Рюриковичам. Он родился 23 августа 1902 года в Москве, в Леонтьевском переулке. “Свое детство я мог бы назвать райским”, – писал он в “Биографии юности” (Париж, 1975. С. 10). Учился в Петербурге. Участие в Гражданской войне на юге России называл эпизодичным. “Это было с моей стороны не зрелое дело, а мальчишеское приключение. Мне очевидно должен был быть на мгновение показан ад” (Там же. С. 56).

В 1921 году поступил в Париже в Ecole Libre des Sciences Politique, а затем учился в Лувене, в одном из старейших университетов Европы, на экономическом отделении. Во Франции Д. Шаховской прожил четверть века. объездил всю Европу. Землю чувствовал “странническим чувством”: “Во всяком человеке есть мимолётность. Она составляет его лёгкость и мудрость, которая ему нужна среди всех феноменов его преходящего существования. *Странничество* соответствует человеку” (Там же. С. 21).

Вернувшись с Афона, поступил в Духовную Академию Преподобного Сергия (С.Н. Булгакова) – одного “из ярких людей духовного Ренессанса России начала 20-го века”.

С.Н. Булгаков поручил Д. Шаховскому доклад “Об Именах Божиих”. Тема была близка С.Н. Булгакову в связи с историей афонских имяславцев и их конфликта с Российским Синодом и греческой церковью в 1911 году.

Идея создать религиозно-философский сборник привела к изданию за рубежом журнала русской литературной культуры. «Это была по-

пытка служения культуре русского слова, русскому духу в свободе (...) И в 1925 году я начал редактировать журнал, мной названный (не без романтической стилизации) “Благонамеренным”.

Могу ль себе её представить
С **Благонамеренным** в руках...

Строчка из “Евгения Онегина” оказалась достаточной для журнального направления. (...) В эти годы мы не только думали о России, а жили ею. (...) Мы не считали себя тогда оторванными от России. Только что вышедшие из её недр, вернее, вырванные с кровью из её плоти, мы были *кровью и плотью* России, её продолжением в мире» (Биография юности. С. 75–76, 78).

В журнале печатались стихи М. Цветаевой, Г. Адамовича, проза И. Бунина, А. Ремизова, статьи К. Мочульского, М. Гофмана и многих других эмигрантов.

23 августа 1926 года в день своего 24-летия Д. Шаховской был пострижен на Афоне в одной из церквей Пантелеймоновского монастыря, и дано было ему имя Иоанн в честь апостола и евангелиста Иоанна Богослова. 2 декабря 1926 года его посветили в Париже на Сергиевском подворье в иеродиаконь. Этот период, весьма непродолжительный, Д. Шаховской называл “церковной весной”.

В 30-е годы Д. Шаховской – настоятель храма Святого равноапостольского князя Владимира в Берлине. С 1946 года жил в США и многое сделал на американской земле. Был деканом в Свято-Владимирской семинарии, в 1950 году переведён в Сан-Франциско и четверть века служил епископом, а в 1961 году стал архиепископом Сан-Францисским. Скончался 30 мая 1989 года.

Первое стихотворение Д. Шаховского появилось в 1922 году, когда автору было 20 лет, в майской книжке журнала “Русская мысль”, издававшегося тогда в Софии (под редакцией П.Б. Струве). Оно обращено к России:

Хотя прекрасны дни былые,
А ныне чужд родимый край,
Но ты молчи, моя Россия,
И голосов не подавай!

Пройдут года, ты скажешь слово,
Тобой зажжённое в ночи...
Но на закате дня людского
Ты, униженная, молчи.

Молчи и верь словам поэта:
“Быстроизменчивы года”,
Бывают ночи без просвета,
Но без надежды – никогда.

Второй сборник “Песни без слов” (Париж, 1924) был благожелательно встречен литературной критикой, третий вышел в Брюсселе в 1926 году перед отъездом Д. Шаховского на Афон. “Несомненно, в моей юности мне был показан мир слова, и я был проведён чрез общение с ценнейшими служителями русского слова. Но я *был и остановлен* на пороге в себе замкнутой языковой культуры” (Биография юности. С. 85). Д. Шаховской надолго отошёл от поэтического творчества и до 1959 года почти не писал стихов.

В 60-е годы Д. Шаховской выпустил несколько поэтических сборников: “Книга лирики” (Париж, 1966), “Упразднение месяца” (Нью-Йорк, 1968); в 70-е годы: “Нескучный Сад” (Калифорния, 1970), “Избрание тишины” (Калифорния, 1971). Стихи включались автором и в религиозно-философские сочинения (“Белое Иночество”, “Жизнь”, “Путь на Север”, “Записки о любви к Богу и человеку”). “Я склонен считать и светскую литературу [...] родом богословия, жизни и культуры” (Арх. Иоанн. Философия православного пастырства. СПб., 1996. С. 487).

Лирика Шаховского – это молитвы, идущие от человека, служащего высшим целям. Многие стихи – переложения библейских сюжетов в их особом поэтическом видении.

Творческая позиция Д. Шаховского выражена в стихотворении “Мята”:

Каждый раз мне хочется всё проще
Отходить к словам совсем простым.

“Поэзия, – писал он, – есть искание и нахождение высшей жизни, доступной человеку [...] Молитва есть самооткровение души, а поэзия есть истончение души, тоже преодолевающее земную ограниченность.

Поэзия есть гимнологическое преодоление всех стёршихся силлогизмов и словесных обозначений, переставших открывать мир [...] Она есть открытие вещей и их сокрытие [...] В ней является само *бытие*, которое более ценно, чем всё то, что может быть им выражено” (Арх. Иоанн [Д. Шаховской]. Избранное. Петрозаводск, 1992. С. 524).

Д. Шаховской обожествлял Слово, с которым он, проповедник, обращался к уму, воле и сердцу слушателя. Догматические положения, символы веры излагаются не в отвлечённо-диалектических рассуждениях, а преподаются в нравственно-морализующем содержании материала. Высочайшие таинства веры могут быть воплощены в простых словах, которые может понять каждый. Истина должна излагаться в простоте сердца.

В “Книгу свидетельств” (Нью-Йорк, 1965) Д. Шаховской включил главу о языке символов, на котором “легче выразить истину высокую и трудную, чем в понятиях человеческого *ratio* – рассудка” (С. 119). “С древнейших времён, – писал он, – символ Корабля означал у наро-

дов путешествие души в потусторонний мир” (С. 120). Этот символ был забыт, церковь обновила его: Корабль стал олицетворением Церкви, плывущей по житейскому морю, а также символом души, блуждающей по этому морю. “Значение жизненного благоденствия христиане возвысили, переключили в область духовную” (Там же). К символике первохристианства относятся, как известно, наименования: *agneц, виноградная лоза, якорь, рыба, пастух*. Изображения их встречаются в катакомбах: сбор винограда и птицы, клюющие виноград, виноградная лоза как символ любви и жизни и др.

Тонкое чутьё слова отличает все работы Д. Шаховского. Любопытна его реплика в книге “Московский разговор о бессмертии” (Нью-Йорк, 1972), где он замечает автору статьи «Архиерей в роли “толкователя” марксистской философии» И. Кривелеву о неправильном использовании им кавычек. Слово “толкователя” было взято в заглавии статьи в кавычки. «Человек, тонко *чувствующий русский язык*, не взял бы этого слова в кавычки. Если сказано, что “в роли”, то этим определено, что толкователь тут не подлинный. Кавычек, значит, не нужно для слова “толкователь”. Если же кто выступает в роли “толкователя” (в кавычках т.е. *не подлинного* толкователя), тот должен быть признан толкователем подлинным. “Минус на минус даёт плюс”. Прошу москвичей меня простить, что я из Америки говорю о тонкостях русского языка» (С. 124).

Большой интерес для читателя, несомненно, представляют и “Тетради о святости”, написанные Д. Шаховским в студенческие годы и бережно сохранённые его матерью. Из них, говорил он, вышла идея “криптологического” журнала “Благонамеренный”, в котором они впервые и были опубликованы (Брюссель, 1926. № 1). Некоторые извлечения:

Эволюция зла – в ширину; добра – в глубину.

Гений всегда просит подаяния, несмотря на то, что все нищи, кроме него.

У Блока в “Двенадцати” перевешивает *двенадцатый* (ушедший с Тайной Вечери).

Земля в солнечном дыму от любви Господней.

Трудно увидеть в политике человека, так как в ней надо смотреть не вверх, а только налево и направо.

В святом человеке должно быть столько же святого, сколько и непонимания своей святости.

Русская грамматика – это английская юстиция: есть законы, и нет законов. Центр – в просвещённом суде.

Большинство книг учило меня, как не надо писать.

Бог – только То, Кого **за всё** благодарить можно.

Святость – это забвение *неглавного*, его незамечание.

Одиночество – книга, которую надо читать с карандашом в руках.

Умный человек – это тот, кто может понять глупого, – говорит апостол Павел.

Умный человек – это тот, кто не может понять глупого, – говорит Ницше.

Россия для других народов – та же теория Эйнштейна. Знают её лишь по популяризаторам.

Афористичность, любовь к “малой форме” – особенность стиля Д. Шаховского. Так построена шестая глава его книги “Время веры” (Нью-Йорк, 1954), раздел в “Книге свидетельств” (Нью-Йорк, 1965), названный “Угли пустынные”, “Московский разговор о бессмертии” (Нью-Йорк, 1972). Приведём некоторые отрывки:

Во времени земном есть особая благодать... Оно может быть землёй и небом; и зерном земным, и цветком райским. Оно может плодоносить и быть плодом. Прошедшее, оно может воскреснуть; будучи настоящим, сотворить прошлое; оставаясь будущим, сделаться настоящей ценностью и святыней... Дивно время Богом данное человеку на Земле, и всегда могущее быть Богу отданным!

Люди, в сущности, делают всё безвозмездно... “Мзда” их слишком ничтожна, чтобы “оплатить” человека. Одно движение человеческой руки, один взгляд человеческий, – дороже всякой материальной ценности, которая может быть взята этой рукой, или усмотрена этим глазом...

Мы люди – спорщики, люди путанного и повреждённого диалога. То, что мы “люди диалога”, это хорошо. Жизнь, общение, дружба, вера, любовь – всё это диалог. И Откровение – диалог. Потомки Авраама, многочисленные, “как песок морской”, говорят с Богом, и Бог говорит с ними. Заветы Божии – диалог, идущий чрез всю историю.

“Людям надо ещё раз сойти с ума, чтобы вылечить от безумия”, – сказал Паскаль. И ап. Павел считает, что человеку надо сойти с ума неверного.

Мы шумим святыми словами.

У любви нет расстояний, как и у чуда.

Некоторые кощунствуют, когда слово *Бог* пишут с малой буквы. Другие, когда пишут это великое слово с большой буквы (не в подходящих случаях, или не вкладывая трепета сердца в слово).

Времени в мире осталось очень мало... Надо торопиться. Но – только в том, в чём надо.

Не так проста православная *соборность*... Множество спящих не составит и одного бодрствующего.

Благодать есть и в “естественном”. Но, чтобы её увидеть, нужна Благодать.

Поэзия, верная гимнической сущности бытия, возводит мир к последнему апофеозу.

Одиночество – преддверие высшего единства. В келье одинокого человека более всего дверь в любовь.

Подвижники любили старые одежды. Это осуществляется в светлом принятии человеком своей старости.

Христос горько плакал об евреях и завещал этот плач Иерусалиму. И не случайно Стена Плача осталась единственной стеной Его Храма.

* * *

Предлагаемые читателю стихи взяты из разных сборников Д. Шаховского (“Избранная лирика”, 1974; “Нескучный Сад”, 1970; “Избрание тишины”, 1971), “О России” (Калифорния – Москва, 1991). Последняя книга была подготовлена Д. Шаховским в 1988 году, как дар России к Тысячелетию её христианства. Сборник вышел посмертно.



Москва

Опять поёт в рассвет поэт пригожий,
Тревожа утомлённую весну,
И поздний спотыкается прохожий,
Бредущий к незаслуженному сну.

Москва, Москва, опять всё в том же “звуке”
С надеждою терпение слилось.
Я всё иду к тебе, как сын и гость,
Не знавший ни прощанья, ни разлуки.

xxx

Звёзды стынут в звёздной стуже,
Гибнут в море корабли,
Почему же, почему же
Так прекрасна жизнь земли?

Оттого, что смертной тенью
Всё плывёт спасённый Ной
К неизбежности спасенья
Невозможности земной.

Достоевский

С того Семёновского плаца
Безмерной бедности земной
Я начал истины касаться
И знать, что Ты всегда со мной.

Мне ангелы тогда сказали
О первой тайне бытия –
О том, что Ты всегда в начале
А после – истина Твоя.

Стихи о времени

Непостыдная тайна времени
Не по времени велика.
Тайна бремени, тайна семени,
Чудотворной любви рука.

Мы давно пред безднами счастливы,
Нам дано лишь смотреть назад.
И, крутясь, как щепка пропащая,
Низвергаемся в водопад.

И кончается время бремени,
Тайна семени, тайна времени.

Избрание тишины

Может быть, мне подобает смель
И другую тишину иметь.

Но такая у меня одна
Бедная, земная тишина.

Ею ничего не объяснишь,
Это самая простая тишь.

И она всегда идёт со мной,
В бедной неумелости земной.

Знаю мрак священной тишины,
Где лампы неба зажжены.

Знаю и молчание ума,
Что приводит в мир Любовь сама.

Но храню я у себя одну
Бедную земную тишину.

Чаша

Вся в цвету, когда цветут лилеи,
Словом солнечным согрета,
Чаша озера Генисарета,
Голубая чаша Галилеи.

Волны милости от этой чаши
Растекаются по градам,
И стоит Единый с нею рядом, –
Там стоит, где сердце наше.

Лотова жена

Душа подобна Лотовой жене,
Не остаётся долго в вышине.
Оглядываясь на Содом,
Отыскивает там свой дом,
И камня смотрит в ту юдоль,
Где смерть свою оставила и боль.

Quo vadis

Город древний, сделай милость,
Чтобы вместо всех наград,
Время здесь остановилась
И потом пошло назад;

Чтобы тайных знаков Рыбы
Я нашёл в тебе следы,
И апостолы прошли бы
Через остийские сады.

Стена Плача

Стена – стенанья и плача
Стоит посреди земли,
И к ней по следам горячим
Плывут, плывут корабли.

Идут, идут пешеходы,
Паломники древних мест,
Взыскующие свободы,
Свободы, не взявшей крест.

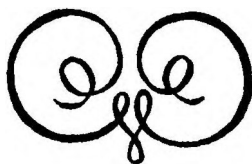
Но есть над Стеною Плача
Великая чистота,
Высокая наша удача –
Слеза самого Христа.

Галилея

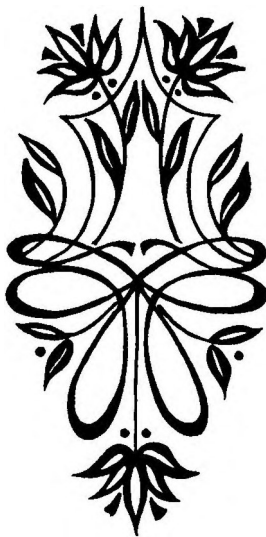
Далёким дымом отгорела Русь.
Ни боли нет, ни жалоб, ни утраты.
На озеро Генисаретское крещусь,
На утренний туман белесоватый.

И тот же Спутник Эммаусский твой
Идёт с тобой, сияя тайным ликом,
В слияньи тишины Своей великой
С озёрной многоликой синевой.

Публикацию подготовила
Л.М. Грановская,
доктор филологических наук
Баку



К 100-летию со дня рождения



СЕРГЕЙ ИВАНОВИЧ ОЖЕГОВ

1900–1964

*Что иссякло в одном потоке,
то могло уцелеть в другом.*

Протоиерей Герасим Павский

В истории отечественной филологии XX века есть страницы, всем хорошо известные. Не потому ли при произнесении имён академиков А.А. Шахматова и Л.В. Щербы, Б.А. Ларина и В.В. Виноградова, профессоров Н.Н. Дурново и И.Г. Голанова и многих других всегда возникает чувство благоговения перед их трудами и немалыми человеческими подвигами. Ведь жили они в сложную эпоху, крушившую одно и прославлявшую иное. И остаться в те годы самим собой, сохранив веру в науку и её традиции, быть преданным и последовательным в своих поступках – смогли немногие. И среди них Сергей Иванович Ожегов – лексиколог, педагог, популяризатор науки о русском языке, создатель знаменитого, незаменимого Словаря русского языка.

Сергей Иванович Ожегов родился 23 сентября (по новому стилю) 1900 года в поселке Каменное Новоторжского уезда Тверской губернии, где отец его Иван Иванович Ожегов работал инженером-технологом на местной фабрике. У С.И. Ожегова (он был старший из детей) было два брата: средний Борис и младший Евгений. Если взглянуть на фотографии, где С.И. Ожегов снят сначала 9-летним ребенком, затем 16-летним юношей и, наконец, уже взрослым мужчиной, то можно заметить яркую отличительную черту этих разновозрастных портретов – удивительно живые, горящие, “электрические” глаза, по-детски непосредственные, но даже на ранней карточке – мудрые, как бы вошедшие в себя родовую ответственность.

В канун Первой мировой войны семья С.И. Ожегова переезжает в Петроград, где он оканчивает гимназию. По словам Сергея Сергеевича Ожегова, сына ученого, у Сергея Ивановича была “бурная, горячая молодость”: он увлекался футболом, только-только входившим тогда в моду, состоял в спортивном обществе.

В 1918 году Сергей Ожегов поступает в университет. Много позднее он редко рассказывал о своих генеалогических корнях и увлеченности именно филологией. И понятно почему: едва ли было возможно в те годы говорить и даже упоминать о том, что в роду были особы духовного сана. Мать Сергея Ивановича Александра Федоровна (в девичестве Дежовская) приходилась внучатой племянницей известному филологу и педагогу, профессору Петербургского университета, протоиерею Герасиму Петровичу Павскому (1787–1863). Его “Филологические наблюдения над составом русского языка” были при жизни автора удостоены Демидовской премии и изданы дважды. Так Императорская Академия наук отметила труд уважаемого русского ученого. Его почитали, с ним не раз обсуждали проблемы филологии многие учнейшие мужи: А.Х. Востоков, И.И. Срезневский, Ф.И. Буслаев. Конечно же, об этом знал С.И. Ожегов. Может быть, он ощущал в себе внутреннюю потребность продолжить дело своего предка. Потому филологический выбор был для молодого С.И. Ожегова сознательным и вполне определенным. Тогда, заметим, надо было иметь и немалое мужество, чтобы в голодные, страшные годы решить посвятить свое будущее науке.

Но начавшиеся занятия были скоро прерваны; С.И. Ожегова призвали на фронт. Так судьба предъявила ему первое, по-настоящему мужское испытание, которое он выстоял, участвуя в боях на западе России, у Карельского перешейка, на Украине. Окончив военную службу в 1922 году в штабе Харьковского военного округа, Ожегов сразу же приступил к занятиям в университете на факультете языко-

знания и материальной культуры. В 1926 году он завершает курс обучения, поступает в аспирантуру и ближайшие годы усиленно занимается языками и историей родной словесности: участвует в семинаре Н.Я. Марра и слушает лекции С.П. Обнорского в Институте истории литератур и языков Запада и Востока в Ленинграде. К этому времени относятся его первые научные опыты. В собрании С.И. Ожегова в Архиве РАН сохранился “Проект словаря революционной эпохи” – предвестник будущей капитальной работы авторского коллектива под руководством Д.Н. Ушакова, где С.И. Ожегов был одним из самых активных участников, “движителей”, как называл его учитель.

Следует заметить, что научная атмосфера в Ленинграде 1920-х годов способствовала творческому росту ученого. Там преподавали его старшие коллеги и соратники: Б.А. Ларин, В.В. Виноградов, В.В. Томашевский, Л.П. Якубинский. Старая академическая профессура, имевшая большой опыт и богатые традиции, также поддерживала первые шаги в науке молодого талантливого исследователя. Как подметил в своей книге Л.И. Скворцов, “кроме В.В. Виноградова, представление его (С.И. Ожегова. – *О.Н.*) в аспирантуру подписали профессора ЛГУ Б.М. Ляпунов и Л.В. Щерба” (Скворцов Л.И. С.И. Ожегов. М., 1982. С. 21). Это были известнейшие ученые своего времени, глубокие знатоки славянских литератур, языков и диалектов, не только теоретики науки, но и тонкие экспериментаторы (вспомним знаменитую лабораторию фонетики, которую организовал Л.В. Щерба).

С конца 1920-х годов С.И. Ожегов работает над большим изданием – “Толковым словарем русского языка” (Ушаковским словарем, как называли его позже). Это было время, исключительно плодотворное для С.И. Ожегова. Он с увлечением погрузился в словарную работу, а окружали его коллеги, составлявшие цвет отечественной филологической науки: Г.О. Винокур, В.В. Виноградов, Б.А. Ларин, В.В. Томашевский и прежде всего Дмитрий Николаевич Ушаков. Этого легендарного русского ученого, исключительного педагога, самобытного художника, собирателя и любителя народной старины, мудрого и мужественного человека и, наконец, заботливого и чуткого отца “ушаковских мальчиков” С.И. Ожегов просто боготворил.

Нам сегодня сложно представить себе, какая огромная ответственность лежала на Д.Н. Ушакове, когда была задумана идея создать первый толковый словарь советской эпохи (кстати, по иронии судьбы, именно за отсутствие этой самой “советскости” и, наоборот, за “мещанство” и уклонение от актуальных в то время задач беспощадно критиковали этот труд противники), и какие нападки пришлось всем им

вынести. Развернувшаяся дискуссия 1935 года напоминала печальную кампанию революционных лет, ставившую себе целью изгнать компетентных и самостоятельных ученых. И здесь в ход шли все методы. Вот как об этом сообщал С.И. Ожегов в письме Д.Н. Ушакову от 24 декабря 1935 года, имея в виду М. Аптекаря, их штатного обвинителя: «Основные положения “критики”: политически незаостренный, беззубый, демобилизующий классовую борьбу (...) “Хулиганско-кабацкая”, терминология, тоже “разоружает”. Причина – неисправимый индоевропеизм, буржуазное и мелкобуржуазное мышление (...) Будет еще бой! (...) А вообще много было курьезного и преимущественно мерзкого, гнусного. Несмотря на всю гнусность (...) все эти мнения отражают хоть боком известные настроения, с которыми надо считаться, тем более, что они вполне реальны»¹.

Нелегко происходили дискуссии среди самих авторов, с их иногда непримиримой позицией. Думается, что С.И. Ожегов и здесь был весьма способным: по своему душевному складу очень деликатный и мягкий, не умевший идти “напролом”, он немало помогал Д.Н. Ушакову, “сглаживая углы”. Недаром в среде “ушаковских мальчиков” (так называли учеников Д.Н. Ушакова) он слыл большим дипломатом и имел прозвище “Талейран”.

В 1936 году С.И. Ожегов переезжает в Москву. Позади аспирантские годы, преподавание в Государственном институте истории искусств, педагогическом институте им. А.И. Герцена, позади первые “испытания на прочность”: после выхода 1-го тома Толкового словаря в Ленинграде разгорелась острая дискуссия, ставившая своей целью опорочить детище Д.Н. Ушакова, запретить издание словаря. Многие письма тех лет, с которыми нам удалось ознакомиться, прямо говорили о “политических” последствиях, ожидающих его авторов.

Приехав в Москву, С.И. Ожегов очень быстро вошел в ритм столичной жизни. Но главное – его учитель и друг Д.Н. Ушаков находился теперь рядом, и общение с ним стало постоянным. В 1937–1941 гг. С.И. Ожегов преподает в Московском институте философии, литературы и искусства. Его увлекают не только сугубо теоретические курсы, но и язык поэзии и вообще художественной литературы, произносительная норма (недаром он вслед за Д.Н. Ушаковым, которого считали крупнейшим специалистом по стилистике речи, позже консультирует редакторов на радио). С.И. Ожегов слился с Москвой, но все же даже годы спустя любил бывать в городе своей юности и гостить у проверенного друга, талантливейшего ленинградского филолога Бориса Александровича Ларина.

В Ленинграде жили и его два брата. Их трагическая, исполненная какого-то фатального знамения судьба и потеря родных были еще одним тяжелым испытанием С.И. Ожегова, испытанием, которое, кажется, он мужественно нес в себе всю жизнь. Еще до войны умер младший брат Евгений, заразившись туберкулезом. Умерла и его маленькая дочка. Когда наступила война, средний брат – Борис, проживавший также в Ленинграде, по причине слабого зрения не смог уйти на фронт, но активно участвовал в оборонительном строительстве. Оказавшись в блокадном городе, он умер от голода, оставив после себя жену и двух маленьких детей. Вот как об этом писал С.И. Ожегов своей тете в Свердловск 5 апреля 1942 года: “Дорогая тетя Зина! Наверно, не получила ты моего последнего письма, где я писал о смерти Бори 5 января. А на днях получил еще, новое горестное известие. В середине января умер Борин сын Алеша, 26 января мама скончалась, а 1 февраля Борина жена Клавдия Александровна. Никого теперь у меня не осталось. Не мог опомниться. Четырехлетняя Наташа жива, еще там. Вызываю ее к себе в Москву, м(ожет) б(ыть) удастся перевезти. Буду сам пока нянчить...” (из архива Н.С. Ожеговой).

Работа над Словарем закончилась в предвоенные годы. В 1940-м вышел последний, 4-й том. Это было настоящим событием в научной жизни. А Сергей Иванович Ожегов жил уже новыми замыслами... Один из них, подсказанный Д.Н. Ушаковым, он намеревался реализовать в ближайшие годы. Это был план составления популярного толкового одно-томного словаря. Но осуществление этой идеи отодвинулось на годы. Шла война...

Ученые коллективы спешно эвакуировались в августе–октябре 1941 года. Одних, таких, как В.В. Виноградов, “неблагонадежных”, отправили в Сибирь, других – в Поволжье и на юг страны. Многие словарники оказались в Узбекистане – практически весь Институт языка и письменности. Д.Н. Ушаков сообщал позже об этом “путешествии” в письме к своему ученику Г.О. Винокуру: “Вы были свидетелем нашего скоропалительного отъезда в ночь на 14.X. Как мы ехали? Казалось, что плохо (тесно, спали вроде как по очереди и т.д.); ...два раза в пути, в Куйбышеве и Оренбурге, нам по какому-то распоряжению выдали хлеба по огромной буханке на ч(елове)ка. Сравнить это с той массой горя, страданий и жертв, к(ото)рые выпали на долю тысячам и тысячам других! – В нашем поезде один вагон – академический, другие: “писатели”, киношники (с Л. Орловой – сытые, избалованные нахлебники в мягком вагоне)...”²

С.И. Ожегов остался в Москве, не прекращая своих занятий. Он разработал курс русской палеографии и преподавал его студентам педин-

ститута в военные годы, дежурил в ночных патрулях, охранял “родной дом” – впоследствии Институт русского языка. (В эти годы С.И. Ожегов исполнял обязанности директора Института языка и письменности.) Желая хоть в чем-то быть полезным стране, вместе с другими оставшимися коллегами он организует языковедческое научное общество, изучает язык военного времени. Многим не нравилось поведение ученого, и он откровенно в письме к Г.О. Винокуру сообщал об этом: «Зная отношение ко мне некоторых ташкентцев, я и к Вашему молчанию склонен относиться подозрительно! Меня ведь винят и в болезни ДН (т.е. Ушакова. – *О.Н.*), и за отказ ехать из Москвы, и за создание в Москве “общества” лингвистического, как там кажется называют, и еще за многое...»³.

Оставаясь в столице, С.И. Ожегов помогал многим своим коллегам, находившимся в тяжелейших условиях в эвакуации, возвратиться в скором времени в Москву для продолжения совместной словарной работы. Не вернулся только Д.Н. Ушаков. Последние недели его страшно мучала астма: ташкентская погода отрицательно повлияла на его здоровье, и он скоропостижно умер 17 апреля 1942 года. 22 июня, спустя два месяца, ученики и коллеги почтили память Д.Н. Ушакова заседанием филологического факультета Московского университета и Института языка и письменности, где были прочитаны проникновенные доклады. В числе выступавших был и С.И. Ожегов. Он говорил о главном деле жизни своего учителя – “Толковом словаре русского языка”⁴.

В 1947 году С.И. Ожегов вместе с другими сотрудниками Института русского языка направляет письмо И.В. Сталину⁵ с просьбой не переводить Институт в Ленинград, что могло бы существенно подорвать ученые силы. Сформированный в 1944 году, по мнению авторов письма, Институт выполняет ответственные функции в деле изучения и пропаганды родного языка. Мы не знаем, какова была реакция руководителя государства, но понимаем всю ответственность этого поступка, за которым могли последовать и иные, трагические события. Но Институт был оставлен на прежнем месте, и С.И. Ожегов занялся своим “детисцем” – “Словарем русского языка”. 1-е издание однотомника вышло в 1949 году и сразу же обратило на себя внимание читателей, ученых и критиков. С.И. Ожегов получал сотни писем с просьбами прислать словарь, объяснить то или иное слово. Многие обращались к нему за консультацией, и никому ученый не отказывал.

“...Известно, что пролагающий новую дорогу встречает много препятствий”, – писал знаменитый предок С.И. Ожегова Г.П. Павский⁶. Так и С.И. Ожегов удостоился не только заслуженной похвалы и урав-

новешенной оценки, но и весьма тенденциозной критики. 11 июня 1950 года газета “Культура и жизнь” опубликовала рецензию некоего Н. Родионова с характерным названием “Об одном неудачном словаре”, где автор, подобно тем (в ушаковские времена) критикам, пытался опорочить “Словарь”, применяя все те же, политические методы устрашения. С.И. Ожегов написал ответное письмо редактору газеты, а копию послал в “Правду”⁷. В этом письме С.И. Ожегов не старался унижить горе-рецензента, а предъявлял ему обоснованно жесткую аргументацию, опираясь только на научные филологические принципы, и в итоге одержал победу.

При жизни ученого Словарь выдержал 8 изданий, и С.И. Ожегов над каждым из них тщательно работал, продумывал ошибки и недочеты. Не без спора проходило и обсуждение Словаря в академическом кругу. Бывший преподаватель С.И. Ожегова, а позднее академик С.П. Обнорский, выступивший редактором 1-го издания Словаря, позже не смог разделить позиции С.И. Ожегова, и наметившиеся еще в конце 1940-х годов разногласия привели к отказу С.П. Обнорского от участия в этом издании. Чтобы была ясна суть их спора, приведем небольшой фрагмент из его письма. Так, оппонент С.И. Ожегова пишет: «Конечно, всякая орфография условна. Я понимаю, что в спорных случаях можно условиться там-то писать слитно, или раздельно, или с дефисом, или с малой, или с большой буквы. С этим я соглашаюсь, как мне ни противно по Ушакову читать “причем” (ср. при этом!) [я вижу все-таки “при чем”]. Но писать “гор-рий” вм(есто) “горский”, “высий” вм(есто) “высший”, “вящий” вм(есто) “вящий” это произвол. Это все равно, что условиться “дело” писать через “деко”, например. Я на такой произвол идти не могу. Пусть идет кто-нибудь другой, для которого и “корова” можно писать через два ятя и т.д.»⁸. Были и другие, не только личные, но и издательские разногласия.

Любопытен такой эпизод, почерпнутый нами из “Филологических наблюдений” Г.П. Павского. Как кажется, и он не раз встречал неодобрительные возгласы, но находил мужество отстаивать собственный взгляд. И этот пример был для С.И. Ожегова весьма показателен: “Есть люди, которым не нравится мое сличение Русских слов с словами иностранных языков. Им кажется, что при таком сличении уничтожается самобытность и самостоятельность Русского языка. Нет, я никогда не был того мнения, что Русский язык есть сборник, составленный из разных языков иноплеменных. Я уверен, что Русский язык образовался по собственным своим началам...”⁹.

Чем же интересен и полезен “Словарь” С.И. Ожегова? Полагаем, что это своего рода лексикографический эталон, жизнь которого про-

должается и сейчас. Трудно назвать другое такое издание, которое было бы столь популярно и не только из-за того фонда слов и продуманной концепции, идущей со времени Д.Н. Ушакова, но и из-за постоянной кропотливой работы и грамотного “осовременивания” Словаря¹⁰.

1940-е годы были одними из самых плодотворных в жизни С.И. Ожегова. Он много работал, а родившиеся в недрах его души будущие проекты нашли удачное воплощение позднее, в 1950-е годы. Один из них был связан с созданием Центра по изучению культуры речи, Сектора, как его позже назвали. С 1952 года и до конца жизни он возглавляет Сектор, одним из центральных направлений которого стали изучение и пропаганда родной речи. С.И. Ожегов и его сотрудники выступали по радио, консультировали дикторов и театральных работников, заметки ученого нередко появлялись в периодической печати, он был постоянным участником литературных вечеров в Доме ученых, приглашал для сотрудничества с Сектором таких писателей-знатоков родной словесности, как К.И. Чуковский, Лев Успенский, Ф.В. Гладков, ученых, деятелей искусства. Тогда же начали выходить под его редакцией и в соавторстве знаменитые словари произносительных норм, к которым прислушивались, которые знали и изучали даже в далеком зарубежье.

В 1950-е годы в системе Института русского языка появляется периодическое издание – научно-популярная серия “Вопросы культуры речи”, организатором и вдохновителем которой стал С.И. Ожегов. Именно в этом сборнике была напечатана впоследствии нашумевшая статья Т.Г. Винокур «О языке и стиле повести А.И. Солженицына “Один день Ивана Денисовича”»¹¹. В “Вопросах культуры речи” проходили апробацию работы молодых коллег и учеников С.И. Ожегова, ставших затем известными языковедами-русистами – Ю.А. Бельчикова, В.Л. Воронцовой, Л.К. Граудиной, В.Г. Костомарова, Л.И. Скворцова, Б.С. Шварцкопфа и многих других. То внимание и уважение к начинающим талантливым исследователям, которое всегда оказывал С.И. Ожегов моральной поддержкой, дружеским участием и просто человеческой помощью, неизменно привлекало к нему людей. Сергей Иванович умел разглядеть в человеке индивидуальность, почувствовать ее каким-то своим внутренним “осязанием”. Поэтому молодое поколение, сплотившееся вокруг своего учителя – “могучая кучка” – как назвал их однажды в письме к нему К.И. Чуковский, – раскрылось уже при нем, показав и доказав свою приверженность его идеям и замыслам.

Еще одним делом жизни (наряду с изданием “Словаря русского языка”) была подготовка нового научно-популярного журнала “с человеческим лицом”. Им стала “Русская речь” (первый номер вышел после

смерти С.И. Ожегова, в 1967 году), пользующаяся успехом и заслуженным уважением и сейчас.

Являясь глубоким академическим специалистом, занимаясь преподавательской деятельностью (он многие годы работал в МГУ), С.И. Ожегов все же не был кабинетным ученым и живо откликался с присущей ему доброй иронией на те языковые изменения, которые начинали входить в обиход рядового человека космической эпохи. Он лояльно относился к “словесным проказам” молодежи, прислушивался к ней, хорошо знал и мог оценить применяемый в особых случаях жаргон – то, что является столь популярным и актуальным в наши дни.

В статье, посвященной 90-летию со дня рождения С.И. Ожегова, одна из его учениц Л.К. Граудина так писала о самобытном подходе ученого к миру изменяющихся слов и явлений: «С.И. Ожегов неоднократно повторял мысль о том, что нужны *экспериментальные* (курсив наш. – О.Н.) исследования и постоянно действующая служба русского слова. Обследования состояния норм литературного языка, анализ действующих тенденций и прогнозирование наиболее вероятных путей развития – эти стороны (...) “разумной и объективной оправданной нормализации” языка составляют важную часть деятельности отдела культуры речи и в наши дни»¹².

Последние годы жизни С.И. Ожегова не были простыми. Институтская деятельность ученого была омрачена нападками на него некоторых “коллег”, называвших Сергея Ивановича “не ученым” (sic!), старавшихся унизить по-всякому, замалчивая его роль и вклад в науку. Будь он более прагматичным в своих интересах или же угодливым властям, он, без сомнения, мог бы иметь “лучшую репутацию”. Но Сергей Иванович был прежде всего искренним по отношению к самому себе и далеким от политической конъюнктуры в науке. А оно, поколение новых “марристов”, дышало ему в затылок и выдвигалось вперед...

Сын ученого, С.С. Ожегов, так однажды поведал о своем отце: «Отзвуки молодости, своеобразное “гусарство” всегда жили в отце. Всю жизнь он оставался художником, подтянутым, внимательно следящим за собой человеком. Спокойный и невозмутимый, он был способен и на непредсказуемые увлечения. Он нравился и любил нравиться женщинам...»¹³. Его расположенность к Человеку, большая личная наблюдательность являлись неотъемлемыми чертами жизнелюбивого характера Сергея Ивановича. Оттого, наверное, он не был категоричен в своих оценках и не судил строго людей.

О его душевных качествах нам немало рассказали письма к ученому – не те, что становятся “добычей” исследователей, ищущих громких имен, а многочисленные отзывы его ныне забытых коллег, которые преисполнены самых сердечных, искренних чувств. Один из них, рабо-

тавший в конце 1950 – начале 1960-х гг. по договору в Секторе культуры речи, Е.А. Сидоров, писал Сергею Ивановичу 19 августа 1962 года: «С чувством не только глубокого удовлетворения, но и большого удовольствия пишу я Вам эти строки, дорогой Сергей Иванович, – вспоминая последнюю нашу беседу, не длинную, но такую душевную. Она, беседа эта – как и письмо Ваше, – так меня растрогала, что сейчас вот я чуть не написал “мой дорогой друг”... Уж не обессудьте на этом! Но нельзя ведь не быть растроганным: новый наступающий – космический!! (размах-то какой!) – век ничуть, видимо, не отражается на душевности таких отношений, какие, к моей неподдельной радости, установились между нами»¹⁴. В другом письме Е.А. Сидоров писал Сергею Ивановичу, что если не будет возможности оплачивать его работу для Сектора, то он по-прежнему готов для него (а, значит, прежде всего для С.И. Ожегова) трудиться и просил принять уверение в этой его позиции и неизменных чувствах почтения к старшему коллеге.

Сергей Иванович Ожегов буквально притягивал к себе людей бескорыстным служением науке, глубиной своего интеллекта, исключительной деликатностью и особым обаянием.

Его облик – и внешний, и внутренний – был удивительно гармоничен, а священническое лицо, аккуратная седая бородка и манеры старого аристократа вызывали иногда курьезные случаи. Однажды С.И. Ожегов, Н.С. Поспелов и Н.Ю. Шведова приехали в Ленинград. Выйдя из поезда, они сели в такси и попросили водителя отвезти их в Академию (наук), но, вероятно, смущенный видом и манерами Сергея Ивановича, тот привез их в ... духовную академию.

В последние годы С.И. Ожегов не раз говорил о смерти, рассуждал о вечном. Наверное, перед его глазами проходили прожитые дни нелегкой жизни, где лишения шли бок о бок с надеждой и верой, поддерживавшими его в трудные минуты... Говорят, что во времена репрессий на С.И. Ожегова – не физических, а моральных, но доставлявших ему, пожалуй, еще большую боль, чем физическая, – в, казалось бы, относительно спокойные 1960-е годы, он не противостоял своим клеветникам, ибо жил по иным, духовным принципам, но, будучи не в силах сдерживать страдания и боль от выпадов тех, кто его окружал, ... плакал.

С.И. Ожегов скончался 15 декабря 1964 года.

Он просил, чтобы его похоронили на Ваганьковском кладбище по христианскому обычаю. Но это желание Сергея Ивановича исполнено не было, его прах покоится в стене Новодевичьего некрополя. Наталия Сергеевна Ожегова рассказывала, что слово “Бог” в их семье присутствовало постоянно. Нет, это не было религиозным культом, и дети воспитывались в светских условиях, но само прикосновение и мироощущение Духа неизменно сопутствовало всему тому, что делал Сергей Иванович. В те непримиримые времена, когда государственной религией был коммунизм, а советский “ученый-интеллигент” уже имел

иной облик, С.И. Ожегова называли *русским барином* (выражение А.А. Реформатского). Видимо, его человеческая суть внутренне противостояла окружающему миру. Он обладал своей “поступью”, имел изысканные манеры, по-особому присаживался (не “бухался с ног”) и говорил, оставаясь все тем же простым, доступным, мягким человеком. В семье Сергея Ивановича никогда не было ханжества по отношению к религии, но, с другой стороны – не было и “показного молебна”. Единственный праздник, который он свято соблюдал, – это Пасха. Тогда он ходил ко всенощной в Новодевичий монастырь...

В “Русском словаре языкового расширения” А.И. Солженицына есть такое слово – “богорадить”, то есть посвящать себя богоугодным делам. Сергей Иванович Ожегов и был таким “богорадным”, “хорошим русским человеком и славным ученым”¹⁵, жизнь которого, все же слишком короткая, но яркая, стремительная, богатая событиями и встречами, – достойна нашей памяти.

Мы не раз обращались к известному ученому XIX столетия, предку С.И. Ожегова протоиерею Г.П. Павскому. Предисловие ко 2-му изданию его книги завершается такими словами, очевидно, близкими и понятными не менее талантливому потомку, который, быть может, хранил в себе эту сокровенную мысль и следовал ей всю жизнь: “...углубляться и выискивать основание всякого дела и слова есть мое любимое занятие. А любимое дело делают про себя, не спросясь других, без особенных посторонних видов”¹⁶.

В приложении к статье публикуется неизвестный фрагмент переписки С.И. Ожегова ленинградского периода жизни. Он интересен не только деталями обсуждения одного общего проекта, в котором были задействованы В.В. Виноградов, А.А. Реформатский и С.И. Ожегов в середине 1930-х годов, но и тем обстоятельством, что история отечественного языкознания данного периода почти не изучена (за исключением судеб репрессированных ученых). В представленных письмах раскрываются идеи, связанные с обсуждением рукописи книги Е.П. Иванова “Меткое московское слово”. В них намечены те критерии и основы работы с текстом, которые во многом определяли стиль и строй “лингвистической” натуры каждого из участников.

С.И. Ожегова и А.А. Реформатского связывала многолетняя дружба и особое, по-видимому, только им понятное “осознание жизни”. В научных взглядах и школах, они, скорее, были представителями разных направлений, но в дружбе и ученой позиции у них много общего.



А.А. Реформатский – С.И. Ожегову

19 октября 1934 г.
Сергею Ивановичу Ожегову
Ленинград, Фонтанка, д. 144, кв. 109.

Уважаемый Сергей Иванович!

Издательство Academia обращается к Вам с просьбой взять на себя одну работу.

История вопроса вкратце такова: этнограф Е.П. Иванов предложил Издательству опубликовать его записи быта и словесности различных ремесел, цехов, профессий и сословий¹⁷. Материал был прорецензирован В.В. Виноградовым, которому и поручили отредактировать эту рукопись. В.В. Виноградов сократил рукопись вдвое, дал ряд библиографических ссылок, объяснил ряд редких слов и написал статью, в которой отметил целый ряд дефектов материала Е.П. Иванова, указав на ценность самого собрания записей.

И то и другое безусловно верно: записи, сделанные в течение 30 лет, – богатейший материал, но его подача, несмотря на обработку В.В. Виноградова, все же не позволяет считать рукопись готовой к сдаче в набор. Объясняется это тем, что Виктор Владимирович не имел многих источников под руками и, очевидно, достаточно точной инструкции от издательства.

Основные дефекты рукописи следующие:

1) В разбивке материала по профессиям и ремеслам не всегда учтено, является ли данное выражение элементом этой именно профессиональной лексики или же является уже достоянием общелитературного языка.

2) Объяснение слов то даны в виде сносок, то отнесены в словарь, то иногда интерпретированы в самый текст “острословиц”.

3) Не в порядке орфография острословиц: В.В. Виноградов пишет: “Самые приемы записывания звучащей речи у Е.П. Иванова далеки от научно-исследовательских требований. Стремясь сохранить особенности речи, Е.П. Иванов, в сущности, лишь ломает традиционную орфографию и не дает надежного материала для лингвиста”.

Действительно, наряду с законной регистрацией некоторых диалектных черт (напр., *яё, жана* и т.п.) – другие черты этого же говора в тех же примерах – не отмечены. Кроме того богато искажена русская орфография такими написаниями, как: *ево, савово, севодня, што, щастье, трескаетца* и т.п. – т.е. случайные фонетические записи орфоэпической литературной речи – диалектальность этих написаний явно мнимая.

4) Ряд слов и выражений остался необъясненным, а они непонятны.

5) Самое трудное – это стиль изложения самого Иванова. Правильно пишет В.В. Виноградов: “Собирательно присущ своеобразный демократический эстетизм” – можно еще резче сказать: описания Иванова

изложены в стиле любования старинкой, курьезностью, в стиле народнической романтизации жизни и творчества “ремесленного люда”.

Вот те вопросы, которые нуждаются в доработке в этой интересной рукописи. Почти все эти вопросы были поставлены Виноградовым, и многое он успел сделать, но перечисленные пункты не доделаны.

Полагая, что Вы, как ученик Виктора Владимировича, лучше, чем кто-либо другой, сможете завершить это интересное дело, Издательство Academia просит Вас срочно ответить по адресу: Москва, Больш(ой) Вузовский пер., д. 1, и надеется на Ваше согласие.

По поручению Редсектора (А. Реформатский)

Архив РАН. ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 131. Лл. 2–2 об. Машинопись без подписи на бланке издательства “Academia”.

А.А. Реформатский – С.И. Ожегову

Ленинград, 103,
Фонтанка 144, кв. 109.

Уважаемый Сергей Иванович!

Очень рад Вашему согласию поработать над материалами Е.П. Иванова. Они стоят того, чтобы их опубликовать в надлежащем виде.

Прежде всего отвечаю на Ваши вопросы:

1) Речь идет не о “значительной реконструкции текста”, а о “правке имеющихся недочетов”, так как В.В. Виноградов уже многое сделал и сделал правильно.

2) Ваше юридическое положение Редакция хотела бы определить так: на титуле будет стоять “под редакцией В.В. Виноградова”, а во вступительной статье должно быть указано, что “тогда-то и такую-то работу проделал С.И. Ожегов” (редакция этого абзаца предлагается Вам).

3) Материальные условия должны прежде всего установить Вы, познакомившись с материалами и решив, что из предложенных нами задач Вы выполните.

4) Материал Вам “при сем” препровождается: прежде всего обратите внимание:

а) на необъясненное непонятное (многое);

б) на орфографию записей (памятуя то, что я писал Вам в прошлом письме);

в) на включение тех или иных “острословиц” в размеченные Виноградовым рубрики (многие связаны случайно через сообщение представителем данной профессии, многие уже давно достояние литер(атурного) языка и т.п.);

г) на последнюю часть – насчет “обывательского плоского анекдота” и проч. Виноградов многое вычеркнул, но, по-моему, некоторые номера из оставшегося возбуждают сомнение (критерий тут не в “пристойности”, а в лингвистической ценности того или иного кусочка);

д) на расположение материала в отдельных рубриках: то, с рассуждения Иванова, и острологицы идут как иллюстрации, то они предшествуют рассуждениям, и тогда рассуждения приобретают характер примечаний. Нельзя ли это унифицировать, избежав натяжек;

е) на слабо(сть) объяснений: надстрочно, о словарики, в тексте (если решить, что словарь дополнение, то упомянутых в тексте слов там не должно быть – их надо перенести в выноски, из текста также надо вывести объяснения в выноски);

ж) на замену многоточиями: надо выверить – количество точек должно соответствовать количеству пропущенных букв;

з) на географические наименования: они в большинстве случаев даны по губерниям, м(ожет) б(ыть), так и сохранить, а где-то оговорить это, чтобы не было недоразумений с Главлитом.

5) Самый трудный вопрос о стиле и способе изложения самого Е.П. Иванова; боюсь, что если его править – придется заново писать; может быть, в некоторых случаях смягчить его “лирический пафос” и обезвредить его “народническую фразеологию”. И сверх того, где-то во вступительной статье порезче “отмежеваться” от его восприятия этого материала.

6) Полагаю, что, ознакомившись с материалом, Вы подробно напишете обо всем затронутом в нашей переписке, а также пришлете конкретный план Вашей работы с указаниями сроков и желаемой оплаты.

7) В дальнейшем соберу свои записки и пришлю Вам нотабены к размеченным отдельным случаям.

(А. Реформатский)

“31” октября 1934 г.

Получение рукописи прошу подтвердить.
Секр(етарь) редактора (Антокольская)

Там же. Лл. 3–3 об. Авторизованная машинопись с подписью Антокольской.

С.И. Ожегов – А.А. Реформатскому¹⁸

⟨Ленинград⟩, 17/XI–(19)34

Многоуважаемый Александр Александрович!

Я с интересом прочел рукопись Иванова. Ценность материалов, собранных в ней, – несомненна. И для этнографа, и для фольклориста, и

особенно для языковеда. Но в теперешнем своем состоянии рукопись, действительно, такова, что оставляет в тени многие, весьма ценные компоненты, затрудняет пользование материалами специалисту и понижает доходчивость материала – для учителя. Виктором Владимировичем произведена большая работа в области композиции материала, толкования слов и выражений, освещения некоторых проблем профессиональной речи. Однако, как Вы указывали, в теперешних его условиях он был лишен возможности завершить работу.

А завершение работы, которое придаст книге вполне законченный вид, отвечающий всем требованиям пользования ею, должно заключаться, с моей точки зрения, в следующем.

1) В целях единства развития темы (деревня – город) в первом разделе должна быть произведена перестановка: быт и словесность проф(ессиональных) групп деревни на первое место, затем проф(ессиональные) группы города. А дальше уже идут, как естественное продолжение, быт и словесность торговцев деревни и города (раздел II) и т.д.

2) Расположение материала должно быть, безусловно, унифицировано: во всех рубриках должно идти повествование Иванова о быте и прочем, а потом языковые записи. При этом придется соответствующим образом оформить концы и начала отдельных рубрик, что можно сделать и, пожалуй, без натяжек. Тогда книга приобретет стройность: описание быта как композиционный центр, и как иллюстрация – записи речи.

3) Классификация записей как внутри отдельных рубрик, так и в последнем разделе (приложения) записи расположены в самом причудливом порядке: записи разговоров перемешаны с пословичными выражениями, с “острословицами”, с частушками, прибаутками и пр. Это производит невыгодное впечатление. И внутри рубрик изложения, а в особенности в приложениях необходимо произвести классификацию записей по лингвистическим признакам, чтобы дать возможность пользоваться ими. Это работа большая, но совершенно необходимая. О ней Вы не писали.

4) Объяснение слов и выражений. В технике этого действительно разницей. Я пришел к такому выводу: в тексте Иванова и в тексте записей не должно быть никаких объяснений, кроме тех, которые вызываются изложением. Объяснения в выносках очень отягощают текст и крайне неудачны для справок; а этот момент очень важен, т.е. имеются слова, выражения и значения, не зафиксированные существующими словарями (Даль, Акад.¹⁹). Кроме того есть слова, требующие объяснения и встречающиеся не раз. Поэтому я считаю необходимым вынести все объяснения слов в конец книги в виде словаря, а в тексте объясняемые слова пометить звездочкой. Полезно было бы также и слова из текста Иванова (те, что представляют интерес) поместить также в этот словарь, но уже без объяснений, а с указаниями страницы, где они

находятся. Компактные словники (вроде офенского, воровского) можно оставить в тексте... Такой словарь мог бы иметь большое значение. В выносках сохранить только объяснения целых фраз и речений.

5) Среди “непристойных” записей есть сомнительные по лингв(истической) ценности. При классификации отдельные случаи станут совершенно очевидными.

6) Особую орфографию записи сохранять только в тех случаях, когда она раскрывает своеобразие морфологической структуры слова или связана с его значением.

7) Географическую номенклатуру по губерниям можно оставить.

8) О тексте и стиле Иванова. Сама тема, конечно, допускает стиль “наивного реализма” описаний и воспоминаний. Правки здесь могут быть сведены к минимуму. Нужны правки, указанные в п(ункте) 2. Слишком выпирающий “лирический пафос”, по моим наблюдениям, можно изъять почти безболезненно. Не выдерживают никакой критики места, где даются экономические рассуждения (напр(имер), о причинах отхожих промыслов); они уж очень наивны, их следует ограничить. Это общеизвестные вещи.

9) Как в тексте, так и в записях есть ссылки на литературные источники, цитирование их (иногда даже без точного указания, напр(имер), об юродивом Ив(ане) Яковлевиче и др.). Есть перепечатки материалов с указанием источника. Это ставит вопрос об использ(овании) источников. В тексте – ряд имен. описаний, требующих реального и библиографического комментария. Основание библиографическому аппарату уже заложено В(иктор)м Вл(адимировиче)м. Это, естественно, ставит вопрос о библиографическом аппарате для других тем книги. Об этом Вы тоже не писали, а это вызывает сомнения.

Такова схема моего плана работы, если Вам угодно будет принять ее. Тут “правка недочетов”, но в “реконструктивном” плане, что заставляет думать о достаточно серьезном сроке (а Ваши предположения о желательных сроках мне неизвестны).

Жду в ближайшее время Вашего мнения и окончательного решения по существу поставленных в моих пунктах вопросов, т.к. они не во всем и не совсем совпадают с изложенными в Ваших письмах указаниями.

(С.И. Ожегов)

Там же. Лл. 4–5.

Примечания

¹ Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 136. Лл. 14–14 об.

² РГАЛИ. Ф. 2164. Оп. 1. Ед. хр. № 335. Л. 27.

³ РГАЛИ. Ф. 2164. Оп. 1. Ед. хр. № 319. Л. 12 об.

⁴ Выступление С.И. Ожегова и других участников того памятного заседания

были опубликованы Т.Г. Винокур и Н.Д. Архангельской. См.: Памяти Д.Н. Ушакова (к 50-летию со дня смерти) // Известия РАН. Серия литературы и языка. Том. 51. 1992. № 3. С. 63–81.

⁵ Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 223.

⁶ Павский Г.П. Филологические наблюдения над составом русского языка. Изд. 2-е. СПб., 1850. С. 111.

⁷ Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 1. Ед. хр. № 225.

⁸ Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 113. Л. 5. об.

⁹ Павский Г.П. Указ. соч. С. V.

¹⁰ В архиве Н.С. Ожеговой сохранился любопытный документ – копия письма С.И. Ожегова в государственное издательство “Советская энциклопедия” от 20 марта 1964 года, где ученый, в частности, пишет: «В 1964 году вышло новое стереотипное издание моего одностомного “Словаря русского языка”. Сейчас работает образованная при Отделении литературы и языка АН СССР Орфографическая комиссия, рассматривающая вопросы упрощения и усовершенствования русской орфографии. В недалеком, по-видимому, будущем эта работа завершится созданием проекта новых правил правописания. В связи с этим я нахожу нецелесообразным дальнейшее издание Словаря *стереотипным* (здесь и далее курсив наш. – О.Н.) способом. Я считаю необходимым подготовить новое переработанное издание (...). Кроме того, и это *главное*, я предполагаю внести ряд усовершенствований в Словарь, включить новую лексику, вошедшую за последние годы в русский язык, расширить фразеологию, пересмотреть определения слов, получивших новые оттенки значения..., усилить *нормативную* сторону Словаря».

¹¹ См.: Вопросы культуры речи. Вып. 6. М., 1965. С. 16–32.

¹² Граудина Л.К. К 90-летию со дня рождения. Сергей Иванович Ожегов. 1900–1964 // Русская речь. 1990. № 4. С. 90.

¹³ Ожегов С.С. Отец // Дружба народов. 1999. № 1. С. 212.

¹⁴ Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 136. Л. 5.

¹⁵ Мы процитировали высказывание Бориса Полевого о С.И. Ожеове (см.: Архив РАН. Ф. 1516. Оп. 2. Ед. хр. № 124. Л. 1).

¹⁶ Павский Г.П. Указ. соч. С. VI.

¹⁷ Речь идет о книге Е.П. Иванова (1884–1967) “Меткое московское слово”. См. подробную историю написания и некоторые оценки труда во вступительной статье к 3-му изданию: Чудаков А.П. Бытописатель и собиратель живого слова // Иванов Е.П. Меткое московское слово. М., 1989. С. 6–40.

¹⁸ Черновой автограф С.И. Ожегова с его многочисленными исправлениями, вставками и приписками, которые при подготовке публикации внесены в текст без сопроводительных комментариев; нумерация пунктов восстановлена в надлежащей последовательности.

¹⁹ Имеется в виду академический “Словарь русского языка” Я.К. Грота – А.А. Шахматова.

**Вступительная статья,
публикация писем и примечания
О.В. Никитина ©**

К 100-летию со дня рождения

АЛЕКСАНДР АЛЕКСАНДРОВИЧ РЕФОРМАТСКИЙ

1900–1978

Александр Александрович Реформатский вошел в историю отечественной лингвистики прежде всего как автор неоднократно переиздававшегося учебника для филологических вузов “Введение в языковедение”. Но ему принадлежит и ряд других трудов, оставивших заметный след в науке о языке. В памяти же современников, его коллег и учеников он остался как необыкновенно колоритная и своеобразная личность, как человек, производивший на собеседников яркое впечатление не только всем своим обликом и манерой поведения, но и своей речью. “– А ведь так, как говорит Реформатский, не говорит уже больше никто” – это слова Анны Андреевны Ахматовой.

А.А. Реформатский родился 16 октября 1900 года в Москве, в семье известного профессора химии А.Н. Реформатского. Мать Александра Александровича, Екатерина Адриановна (урожденная Головачева) имела гуманитарное образование, преподавала русский язык и литературу, и скорее всего от нее Реформатский унаследовал интерес и любовь к языку. После окончания в 1923 году историко-филологического факультета Московского университета Александр Александрович поступает в аспирантуру, где его научным руководителем становится Дмитрий Николаевич Ушаков, будущий редактор знаменитого “ушаковского” толкового словаря. Научное общение с Д.Н. Ушаковым оказало большое влияние на Реформатского, а разные эпизоды, связанные с этим общением, Александр Александрович с удовольствием и благодарностью вспоминал и много лет спустя, когда сам уже имел десятки учеников.

В 20-е годы Реформатский работает в различных московских издательствах, позднее преподает в вузах Москвы – в МГУ, Московском городском пединституте, в Литературном институте. С 1958 по 1970 гг. он заведовал Сектором структурной и прикладной лингвистики в Институте языкознания АН СССР, а в последние годы, вплоть до своей кончины в мае 1978 г., был в этом институте научным консультантом. В 1962 году ему была присуждена (без процедуры защиты) степень доктора филологических наук и присвоено звание профессора. Он являлся членом многих научных комитетов и комиссий: Орфографической

комиссии при Президиуме АН СССР, Комитета по терминологии, Комиссии по топонимике, секции машинного перевода Совета по кибернетике и других.

К этому сухому перечню жизненных вех и ученых регалий надо добавить, что сам Александр Александрович никогда не стремился ни к чинам, ни к славе, не имел высоких наград и не ждал почестей от сильных мира сего. Самым главным делом его жизни было служение науке о языке.

А.А. Реформатский – один из основателей (вместе с Р.И. Аванесовым, П.С. Кузнецовым, В.Н. Сидоровым, А.М. Сухотиным) Московской фонологической школы. Его перу принадлежат такие хорошо известные специалистам труды, как “Из истории отечественной фонологии”, “Фонологические этюды”, “Очерки по фонологии, морфонологии и морфологии”, “Лингвистика и поэтика” и др. Самыми ранними его научными сочинениями были статьи по поэтике: “Структура сюжета у Л. Толстого”, “Опыт анализа новеллистической композиции”.

Среди работ Реформатского особенно выделяются новизной научного подхода, глубиной и оригинальностью высказанных в них мыслей исследования по фонологии и фонетике, а также по теоретическим вопросам грамматики, по орфоэпии и орфографии, топонимике и ономастике, по лингвистическим основаниям терминоведения. Точность научного анализа в его трудах опирается на всестороннее знание языковых явлений, живой речи во всем ее многообразии.

Такая широта профессиональных интересов Реформатского не означала научной разбросанности. Разные проблемы, касающиеся языка, он рассматривал под углом определенной лингвистической концепции – концепции Московской фонологической школы, принципов и взглядов которой он твердо придерживался на протяжении всей своей научной деятельности. Это позволяло ему в, казалось бы, разрозненных и несопоставимых фактах языка видеть систему, проявлялась ли эта система в фонетике, в морфологии или в лексике.

Последовательно отстаивая свое лингвистическое кредо, А.А. Реформатский в то же время глубоко уважал научных оппонентов, а с некоторыми из них его связывала многолетняя дружба (как, например, с петербургским профессором Л.Р. Зиндером). Как ученый он был целен, не допускал малейшего эклектизма, а как человек – необычайно широк и терпим, и в этом заключалась одна из многих привлекательных черт его богатой натуры.

Он был всецело погружен в науку и сам писал о своей “влюбленности в лингвистику” и даже ...в фонему. В его работах высокий уровень научной абстракции, конструктивная точность анализа органически сочетаются с вниманием к языковой реальности – к отдельному слову, к звуку, к оттенку звука.

Замечателен сам стиль научных сочинений Александра Александровича, одновременно и свободный и строгий. Выверенность, сухость

формулировок – и эмоциональность комментариев к ним; специальная, часто иноязычная, терминология – и богатство интонаций русской разговорной речи. О фонемах, морфемах и прочих научных абстракциях он писал, как о живых людях. Он мог сравнить специальную область лингвистического знания с отделом штучных товаров в магазине – именно такова, по его мнению, морфонология: хотя она не чужда системности, факты ее больше касаются нормы, того, как принято по традиции говорить и писать на данном языке, а не того, что “разрешает” языковая система.

Во всё, что он делал – и в свои научные исследования в первую очередь – Реформатский вкладывал душу. А в душе его было место и шутке, и неожиданному сравнению, и каламбуру, и воспоминанию о вещах, казалось бы, весьма далеких от лингвистики. Кстати сказать, увлечения Александра Александровича этими “далекими вещами” – музыкой, шахматами, охотой, теннисом, поэзией (он был мастером стихотворного экспромта, пародии, дружеского послания и еще десятка поэтических жанров) помогали ему в основном деле его жизни – в исследовании языка. Слушая оперные арии, он вдруг замечал специфическое произношение или необычную форму слова, которые требовали лингвистического объяснения (такие объяснения читатель найдет в его статье 1955-го года “Речь и музыка в пении”); из теории шахматной игры он заимствовал принцип избыточной защиты и использовал его при изучении структуры письменного текста – как принцип избыточной информации (пример избыточности такого рода: точка в конце предложения и прописная буква в начале следующего; см. изданную в 1933 году книгу А.А. Реформатского “Техническая редакция книги”); размышления над охотничьими терминами помогали ему в понимании лингвистической сущности терминологии вообще (его работа “Что такое термин и терминология?” давно стала классической).

А.А. Реформатский не только свободно владел языковым материалом (и русского, и десятков других языков), не только прекрасно ориентировался в теоретических концепциях разнообразных лингвистических направлений, школ, отдельных ученых, – он легко и при этом со знанием дела использовал в своих работах примеры из математики, музыковедения, истории, философии и ряда других наук. Это был не просто разносторонне талантливый, но и энциклопедически образованный, глубоко интеллигентный человек. И очень русский: во всём его облике, в характере, в его отношении к жизни и к людям было много природно русского. Он любил и хорошо знал и русский язык, и быт и обычаи русского народа, и его историю, исходил и изъездил многие места России.

Александр Александрович был замечательным лектором, умевшим увлечь аудиторию предметом своих лекций, своим темпераментом, живым и сочным словом. В его лекциях в еще большей степени, чем в пе-

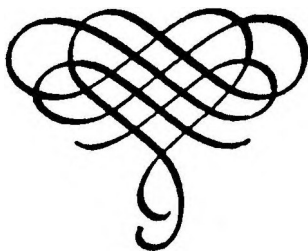
чатных трудах, “совмещалось несовместимое”: научная абстракция, мудреный термин, просторечное словцо, парадоксальное столкновение фактов, экскурс в далекие от языкознания области – и всё это освещенное душевным огнем, пронизанное страстностью, не оставлявшей в слушателях места равнодушию.

Особо надо сказать о любви Реформатского к языковой игре, к переименованию, к каламбурному искажению слов, в том числе и личных имен. Это у него встречается и в научных трудах (например, возражая оппоненту, он мог сказать, что у них в этом вопросе не разногласие, а *разноглазие*), но подлинной стихией словесной игры была для него устная речь, разговоры с учениками и с друзьями, шуточные письма к ним. В воспоминаниях о Реформатском приводятся такие примеры его языковых шуток: *Маоцзедуня* (о знакомой женщине по имени *Дуня*, которая увлеклась идеями современной китайской философии); слово *естественно* он разлагал на “*есть, тесть, вино*”; любителей обнаженной натуры (*ню*) называл *нюшники*, преферанс превращался у него в *привиранс*, а бакалея – в *бык-аллею*. В лекции он мог употребить слова *оттеда* и *отсюдова* и не понимающим шуточного тона его речи объяснял: “Это я озорую”.

И еще одну черту Реформатского как ученого и человека надо отметить: он всегда радовался всему новому, что появлялось в науке, была ли это талантливая работа кого-либо из его учеников или же целое научное направление. Пример тому – машинный перевод. Когда в середине 50-х годов в нашей стране началось бурное развитие этого направления науки, А.А. Реформатский не только приветствовал его, но и был среди его инициаторов: в соавторстве с П.С. Кузнецовым и математиком А.А. Ляпуновым он написал и опубликовал программную статью “Основные проблемы машинного перевода” (Вопросы языкознания. 1956. № 5).

Яркая личность Александра Александровича Реформатского, индивидуальность и своеобразие его натуры проявлялись во всем – выступал ли он с кафедры, писал ли статью, разговаривал с друзьями или просто надевал свою бессменную кепку... Он прожил большую, полнокровную жизнь, и кажется, сделал он в этой жизни всё, что хотел сделать, свято служа научной истине и ни в чем не поступаясь нравственной чистотой.

Л.П. Крысин,
доктор филологических
наук ©



Полуинтеллигент

А.В. ЗЕЛЕНИН,
кандидат филологических наук

Данное обозначение относится к разряду слов, составляющих модель в русском словообразовании с префиксом *полу-*, однако в семантическом и прагматическом отношении оно имеет особый статус в общественном сознании. Связано это, конечно, вообще со всем понятийным полем вокруг слова *интеллигент*, которое вызывает общественные споры практически со времени своего возникновения в русском языке (см. Русская речь. 2000. № 4). Источником пополнения слов с префиксом *полу-* в русском языке следует считать французский язык, в котором префикс *demi-* имеет значение “половина, полу-”. Эта модель распространяется в русском языке через литературу довольно широко, так как она привносила, по мнению литераторов, новые семантические оттенки, позволявшие лучше выражать мысль. Иноязычный характер этой модели хорошо чувствовался: “Слово *полулежащий* мною употреблено, по примеру французского (*demicouché*) по той причине, что ни *прилежший*, ни *почти лежащий* не может выразить того положения, которое имеет описываемая фигура” (Журнал изящных искусств. 1823. Ч. 1. С. 331). Ср. также заимствованное в русский язык название *полусвет* (фр. *demimond*) и характеристику, которую дает обозначению *светские люди* М.И. Михельсон: “только с виду” (Русская мысль и речь: Свое и чужое. Т. 2). Таким образом, при заимствовании французского префикса с тем же значением, что и русская приставка *полу-*, произошло их семантическое размежевание: русский префикс сохранил старое значение, а французский при переводе стал значить “не совсем, почти, не вполне”. Именно этот смысловой “зазор” и позволил зажить в русском языке новой семантической модели слов.

Активность образований с префиксом *полу-* при обозначении лица в

русском языке начала XIX века можно лучше всего, пожалуй, проиллюстрировать на следующем примере. Пушкин в своей знаменитой эпиграмме на новороссийского генерал-губернатора М.С. Воронцова, в канцелярии которого поэт служил в 1823–1824 гг., использует эту модель, однако привносит и новое значение в приставку – “неполнота признака; половина того, что названо в исходном слове”:

Полу-милорд, полу-купец,
Полу-мудрец, полу-невежда,
Полу-подлец, но есть надежда,
Что будет полным наконец.

Следовательно, в префиксе *полу-* родилось значение, связанное с качественностью (шире – оценочностью) реалии, вещи. В “Словаре церковнославянского и русского языка” (СПб., 1847 г.) отражены новшества, произошедшие в языке, в частности внесено новое значение “похожий, напоминающий”, ср. содержащиеся в данном словаре слова с префиксом *полу-* (в значении лица): *полубарин* – подражающий барам; *полубарыня* – подражающий барыням; *полудикарь* – отчасти подобный дикарю; *полудурье* – человек глуповатый, дураковатый; *полоумный* (Т. 3. С. 319–321). Совершенно очевидно, что истоки значения лежат в представлении о человеке, чьи поведение, поступки, образ жизни претендуют на что-то большее, не соответствуют общепринятым нормам в его социальном кругу. Это чисто сословная, общественная оценка человека – один из новых принципов, вошедших в обиход в XVIII веке, и формируемый как “быть, а не казаться”. Именно на стыке этих двух морально-нравственных критериев поведения личности и рождается то новое представление, которое обусловило и вызвало к жизни появление в префиксе *полу-* незнакомого ранее значения с сильным элементом иронии, неодобрения.

На всем протяжении своей истории существительные с префиксом *полу-* в значении лица сохраняли стилистически разговорный оттенок. В XX веке продолжалось образование таких слов. В Словаре Ушакова отмечены следующие обозначения: *полуграмотный* (малопросвещенный, малообразованный – пренебр.), *полудева* (девушка порочного поведения – шутл., пренебр. устар.; калька с франц. *demi-vierge*), *полудурье* (обл. пренебр.), *полузнайка* (разг. пренебр. Человек, плохо знающий свое дело, свой предмет, не имеющий основательных знаний), *полупочтенный* (разг. пренебр. ирон. Не заслуживающий никакого уважения).

На этом фоне совсем не случайным кажется существование обозначения *полуинтеллигент*. Напрасно искать его в толковых словарях, они не включают его в свой состав, считая системным образованием, то есть образованным по модели, но не ставшим (еще?) общеупотребительным, узуальным. Только орфографические словари последних лет регистрируют образования *полуинтеллигентный*, *полуинтеллигент-*

ский. Справедливости ради стоит отметить, что в русском языке они не новые, только в словари попали довольно поздно.

Первые употребления слова *полуинтеллигент* относятся к началу XX века, когда в этом названии доминирует еще не оценочный, а номинативный компонент – “тот, кто принадлежит к людям, занятым преимущественно умственным, вообще не физическим трудом”. Связь понятия “интеллигент” с представлениями об образованности чувствовалась всегда и особенно у представителей дореволюционного и послереволюционного поколения. “В пятидесяти станицах насчитано 770 видных советских деятелей-комиссаров, членов совета и агитаторов; из них 69 интеллигентов и полуинтеллигентов и 711 людей совершенно необразованных, стоявших на низших ступенях общественной лестницы, по большей части уголовного элемента” (А.И. Деникин. Очерки Русской Смуты. Т. 2. Борьба Генерала Корнилова. Август 1917 – апрель 1918 г.); “Интеллигенты и полуинтеллигенты считались внутри Ордена интеллигенции людьми политически равноценными, разница была только в степени образования...” (Б. Башилов. Масонство и русская революция. Т. 5); “Шовинистическая пропаганда украинской мелко-буржуазной интеллигенции и полуинтеллигенции – народных учителей, кооператоров, фельдшеров и т.д., – стремящейся избавиться от конкуренции более сильной и многочисленной русской интеллигенции, находила мало отклика в крестьянстве” (А. Мартынов. Великая историческая миссия. Ч. 1. Мои украинские впечатления); “Мне невольно вспоминается другой состав присяжных {...} Два полуинтеллигентных человека и 10 мужиков. Правда, там были коренные мужики с предрасудками деревни, но и с крепкой, нетронутой деревенской совестью” (В.Г. Короленко. Господа присяжные заседатели. Статья 2); “Социальный состав политзаключенных [в Норильске] был разнообразен, но преобладала интеллигенция и полуинтеллигенция всех национальностей Европы и Азии, а также бывшие деятели: политзаключенные, хозяйственные, научные (академики), бывшие дипломаты из европейских стран (сталинский режим бросил их в лагерь как преступников), которым посчастливилось уцелеть. Сидел там и довоенный посол СССР в Румынии” (из воспоминаний Эдварда Сеткевича // Веч. Красноярск. 1996. 30 окт.).

В этих цитатах отчетливо видна семантика обозначения *полуинтеллигент* – “тот, чья профессиональная деятельность связана с умственным трудом в сфере народного просвещения, медицины и т.п.”. Семантические признаки понятия заключены в диапазоне между “тот, кто занят высоким умственным трудом” (работа в высших государственных органах, университетах, на дипломатическом поприще и т.д.) и “тот, кто получил элементарную грамотность (в пределах школы)”. Полуинтеллигентом мог оказаться сельский врач, фельдшер, работник страхового или кредитного общества, земства, землемер.

Другие контексты дают нам образы полуинтеллигенции, в дореволюционной России связанные с поиском ее места в социальной иерархии; наиболее близкой она (полуинтеллигенция) оказывается мещанству как городскому социальному слою. Ср. у П. Капицы в частном письме из Англии: “Тут, в Кембридже, я снимаю 2 комнаты в одной семье, тут же столуюсь. Семья полуинтеллигентная, мещанская, но они очень любезны со мной” (П. Капица. Письма к матери. 1921 г.). Или у К. Паустовского в автобиографической книге: «Куприн хорошо знал жаргоны русского языка, вплоть до “блатного” языка и жаргона проституток, до речи обывателя и полуинтеллигента» (Поток жизни).

После революции 1917 г. понятие “мещанин” в советском языке оказалось прочно дискредитированным, в нем победил прагматический компонент, формировавшийся на протяжении многих лет революционно-демократической литературой. Поэтому в Словаре Ушакова дано толкование слова с социальных позиций, снабженное пометой “устар. (елое)” – в дореволюционной России; приводится и второе, переносное значение: “человек с мелкими, ограниченными, собственническими интересами и узким идейным и общественным кругозором” (Т. З. С. 207). По принципу семантического “заражения” слова (Ю.С. Сорокин), или семантической радиации, в понятии *полуинтеллигент* развивается тот же смысл, те же социально-языковые ассоциации, что и в термине *мещанин*. Ср.: “Соседи жили километров за 15–20. Более близких насчитывалось мало, да и не были интересны, гранича в своем уровне с полуинтеллигентностью” (С. Прокофьев. Автобиография); “[Лубенцов] сказал с горечью: – Ох, как я ненавижу наших полуинтеллигентов с их поверхностными знаниями, с их полным отсутствием любознательности, с их вечным иждивенчеством за счет самого благородного из государств! Как я ненавижу этих недорослей, которые и от простого народа оторвались и в интеллигенцию не вошли!” (Э. Казакевич. Дом на площади).

Революция 1917 года вопрос поставила радикально: с кем вы, интеллигенты и полуинтеллигенты? Ответ ожидался один... Из советского языка понятие “полуинтеллигент” с фоновыми социологическими ассоциациями уходит довольно быстро. Пожалуй, только русская эмиграция пыталась разобраться в этом обозначении. Русский поэт, живший в Шанхае, проводит параллель между понятиями “большевистская революция” и “полуинтеллигент”, считая последнее ее продуктом и социальной опорой: «Диктатура рабочего класса. Рабочий – правит. Он – “царь политического строя”!.. Революция выработала уже и свой психологический облик. В его основе лежит то, что мы называем “полуинтеллигентом”. Понатерпший рабочий. “третий элемент” {...} Эти люди прочно пронизаны узким, но точным кругом идей-импульсов, и, как замороженные, как обреченные неким высшим роком, делают дело, исторически им сужденное...» (Н. Устрялов. Россия (У окна вагона) –

Харбин, 1926). В современной терминологии это приблизительно то же, что “люмпен-пролетариат”.

Интересно, что в эмигрантских изданиях обозначение *полуинтеллигент* “представитель профессий, связанных с умственным трудом и обычно обслуживающих население (врач, фельдшер, агроном и т.п.)” сохраняется: “Сепаратизм не имеет глубоких корней в малороссийской ветви русской нации. Это явление заносное, подхваченное только частью малороссийской полуинтеллигенции из честолюбивых или корыстных побуждений” (Рус. голос. 1939. 19 февр. № 411); “Во всех слоях народонаселения, за исключением небольшой правительственной клики, опирающейся на новое чиновничество и на полуинтеллигентов, правительство Ульманиса считается совершенно нежизнеспособным” (Призыв. 1919. 4 дек. № 135).

В последние десятилетия иногда встречались случаи употребления слова *полуинтеллигент* в старом значении, преимущественно у писателей старшего поколения: “Кац оказался... не слишком молодым полуинтеллигентом из Витебска, до глубины души уязвленным тем, что не имел права проходить военную службу вольноопределяющимся, а был простым нижним чином, к которому все... обращались на ты...” (В. Катаев. Юношеский роман); “[Корнилов] приобрел жизненную хватку и непотопляемость, но многие из его поколения русской интеллигенции и полуинтеллигенции знали только крайности: или философствовали, или ударялись в террор и в сомнительную политику, больше не умели ничего” (С. Залыгин. После бури).

В первые послеперестроечные годы полуинтеллигентов вспомнили в связи с интеллигентами и их ролью в революции 1917 г.: “...носителями [идей классовой борьбы] часто становились полуинтеллигенты, разночинцы, склонные к отрицанию и нетерпению” (В. Шубкин. Грустная правда). Зафиксировано также прилагательное *полуинтеллигентный* в значении “по виду, манерам поведения похожий на интеллигента”: “Рядом со мной затормозила машина, и водитель, человек полуинтеллигентного вида, вежливо спросил меня...” (Комс. правда. 1973. 6 апр.). У писателей, много размышляющих о понятии “интеллигенция”, есть и распространительное понимание данного термина: «Слова “интеллигент” тогда не существовало, но если бы оно было, то подавляющее большинство просвещенных помещиков не подымалось выше полуинтеллигентности, а вот Аркадий Александрович Рахманинов был настоящий интеллигент» (Ю. Нагибин. Князь Юрка Голицын). Такие же ассоциативные сцепления свойственны и публицистике Д.С. Лихачева.

Однако активное возвращение слова *полуинтеллигент* на страницы российских газет и журналов произошло только в последние годы. Одной из причин этого было стремление понять или переосмыслить роль, место, структуру советской интеллигенции, ее родовую связь (если такая еще сохранилась) с дореволюционной и те черты, которые

проявились у интеллигенции в советское время. Прежде почти утраченный этимологический смысл “умственный труд, полученное образование” вновь оживился, оказался востребованным для раскрытия сути понятия. Так формируются новые смысловые связи данного слова со следующими понятиями: “полузнайка”: “Если Россия – это Восток или даже Евразия, то западноевропейский характер ее образованности позволяет легко оторвать интеллигенцию от народа, оправдать в известной мере отрицательное отношение к ней господствовавшего в России слоя полуинтеллигенции, полубразованцев и образованцев” (Лихачев Д.С. О русской интеллигенции // Новый мир. 1993. № 2); “интеллигент в первом поколении.” “С Лилей и Ириной произошло то, что обычно происходило с детьми интеллигентов в первом поколении, вернее, полуинтеллигентов, получивших лишь образование, но не сумевших (не только по своей вине) овладеть культурой” (А. Житинский. Потерянный дом, или Разговоры с Милордом); «Поэт [О. Чухонцев], из последних, горазд на аллюзии, осознанные, но и непреднамеренные. Впитал мировую культуру, а каково ему, “интеллигенту в первом поколении” (полуинтеллигенту – вычисленному другим поэтом)?» (Плетнер К. Пробегающий пейзаж // Русский журнал. 1999. 11 марта); “полуинтеллигентная советская элита”: “Советская элита, еще не криминальная и в чем-то трогательно полуинтеллигентная, еще такая, по нынешним меркам, бедноватая, еще вынужденная соблюдать условия игры в равенство трудящихся, уже тогда была мощным антикультурным явлением” (В. Петрова, вступ. статья к книге Г. Щербаковой “Дверь в чужую жизнь”. М., 1998).

Интересно, что всплывает когда-то ощущавшаяся связь мещан (жителей дореволюционного города) с полуинтеллигенцией, только в современных условиях это уже урбанизированные жители: «Но в сумме частных исследований советского горожанина, точнее, московского, самого “горожанистого”, бегущего впереди страны всей полуинтеллигента – ну куда уж тут деться, да, “образованщина”, вечерне-заочное, троечнос, скорей бы к диплому, к непыльной работенке, к телевизору да к газеткам, – рождается достаточно точная, исчерпывающе информативная картина современного общества» (Липневич В. Человек – это мы // Новый мир. 1997. № 7).

Расщепленность семантики слова *полуинтеллигент* и его производных, их смысловая неопределенность, нечеткость происходят вследствие нескольких факторов: словообразовательного (трудность дать точное словарное определение значения префикса *полу-*, так как у него сильно ощущается оценочность); смыслового (трудность выделить и выбрать ведущие семантические признаки в ключевых понятиях “интеллигент, интеллигенция”), прагматического (индивидуальное и/или групповое отношение к самому понятию “интеллигент” – положительное или отрицательное). Последний фактор хорошо проступает в сле-

дующей цитате, когда слово может душевно ранить, задеть глубоко личные чувства, даже оскорбить: «Был вечер памяти Шукшина (в первый год после смерти) в кинотеатре “Уран” на Сретенке. Во вступительном слове Лев Аннинский высказал мысль, что Шукшин, сам будучи полуинтеллигентом, обрушился против интеллигенции. Из зала раздался громкий одинокий протест, что-то вроде того “Сам ты полуинтеллигент!”» (Из воспоминаний Анатолия Заболоцкого // Шукшин в кадре и за кадром. М., 1998).

Возможно, именно сочетание этих факторов и вызывает общественный интерес к данному обозначению, позволяет “вычитывать” в нем актуальное для данной исторической эпохи содержание. Задача лингвиста – проследить пути развития понятия и слова, каким бы трудноопределимым, почти безнадежным для объяснения оно ни казалось. Сомневаться же в том, что перед нами действительно один из ключевых терминов русской культуры, не приходится: “Что такое интеллигенция? (...) Понятие это чисто русское и содержание его преимущественно ассоциативно-эмоциональное” (Д.С. Лихачев. О русской интеллигенции).

РОДИНА И ГОСУДАРСТВО

Эр. ХАН-ПИРА,
кандидат филологических наук

*Родиной называют государство,
когда надо проливать за него
кровь.*

Ф. Дюренматт

*Эта даль, эта ширь заревая,
Эти реки, дороги, мосты,
Этот свет неоглядных просторов –
Это ты, моя Родина, ты!*

И. Садофьев

Как представлено соотношение лексических значений слов *государство* и *страна*, *родина*, *отечество*, *отчизна* в толковых словарях русского языка? Словарь под редакцией Д.Н. Ушакова (далее ТСУ), Словарь русского языка в четырех томах (далее МАС), Словарь современного русского литературного языка (далее БАС), Толковый словарь русского языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой (далее СОШ) толкуют *государство* как двузначное слово, ТСУ: “1. Организация классового господства, имеющая своим назначением охрану экономических и политических интересов господствующего класса и подавление враждебных классов. 2. Страна, управляемая своим самостоятельным правительством. *Границы двух государств*”. В БАС (1-е изд.) толкование первого значения этого слова совпадало с толкованием в ТСУ, а второе значение раскрывалось так: “Страна и ее население под властью определенного правительства”. Во 2-м издании БАС читаем о слове *государство*: “1. Политическая форма организации общества, осуществляющая управление обществом, охрану его экономической и социальной структуры. *Рабовладельческое государство. Капиталистическое государство*. 2. Страна с определенной политической системой”. В МАС *государство* тоже представлено как двузначное слово (правда, двузначность закамouflирована знаменитым “а также”): “Политическая организация общества во главе с правительством и его органами, с помощью которой господствующий класс осуществляет свою власть,

обеспечивает охрану существующего порядка и подавление классовых противников, а также страна с такой политической организацией". СОШ (1997) тоже толкует *государство* как двузначное слово: "политическая организация с определенными функциями и страна, находящаяся под управлением этой организации". (Заметим попутно, что БАС во 2-м издании и СОШ не упоминают о классовой сущности государства как политической организации.)

Итак, названные словари обращаются к слову *страна* при толковании слова *государство*. А как истолковано слово *страна* в этих словарях? ТСУ: "1. Местность, область, территория". 2. "Государство". Видимо, после *государство* следовало бы указать: "(во 2-м знач.)". БАС: 1. "Местность, территория, край". 2. "Государство (во 2-м знач.)". 3. "Устар. Сторона". МАС: 1. "Местность, территория, выделяемые по географическому положению и природным условиям". 2. "Государство". СОШ: 1. "Территория, имеющая собственное государственное управление или управляемая другим государством". 2. "Местность, территория".

Толкуя *государство* (во 2-м знач.), все эти словари не указывают, в каком значении они употребляют тут слово *страна*. И толкование слова *отечество* они начинают со слова *страна*, не сообщая, в каком из его значений оно у них употреблено. ТСУ: "Страна, где родился данный человек и к гражданам которой он принадлежит". И приводит слова Ленина (1918 г.): "Мы не защищаем тайных договоров, мы защищаем социализм, мы защищаем социалистическое отечество". БАС: "Страна, где родился данный человек и к гражданам которой он принадлежит; родина". МАС: "1. *Высок*. Страна, где родился данный человек и гражданином которой является. 2. Место возникновения, происхождения чего-л., родина". СОШ: "(*высок*.). Страна, где человек родился и к гражданам которой он принадлежит". В этих толкованиях смущает слово *гражданин*. А если человек родился и прожил на данной территории много лет, не получив почему-либо гражданства, у него нет отечества? И если эти два признака – место рождения и гражданство – вместе необходимы и достаточны, то где отечество, скажем, у не одной тысячи жителей России, родившихся, а зачастую проживших некоторое время за ее пределами (например, в случае длительной заграничной командировки родителей)?

Ирина Хакамада пишет: «В глубине души мы все равно остаемся не гражданами, а подданными, имеющими только те права, которые соизволит ниспослать нам власть. Мы даже себя, Россию, называем то "страной", то "государством", не чувствуя принципиальных различий между этими словами» (Известия. 1999. 3 нояб.). Двузначность слов *государство* и *страна* проистекает вовсе не из-за отсутствия гражданственности (как, кажется, полагает И. Хакамада), а по причине закономерного метонимического переноса. Но И. Хакамада права в принципиальности различий смыслов в каждом из этих слов.

Слово *отчизна* истолковано так: “(устар. и ритор.) Отечество, родина” (ТСУ); “Страна, в которой человек родился; отечество, родина” (БАС, среди примеров некрасовские строчки: “Мать-отчизна! Дойду до могилы, не дождавшись свободы твоей”); “(трад. и высок.) Отечество, родина” (МАС); “Отечество, родина” (СОШ).

Теперь о толковании слова *родина* ТСУ: “1. Отечество; страна, в которой человек родился и гражданином к-рой он состоит. *Мы любим свой язык и свою родину*. Ленин. ...*Весь советский народ любит свою социалистическую родину*... // Место рождения кого-н. ... // перен. Место зарождения, происхождения чего-н. *Р. картофеля – Америка*. 2. перен. Место возникновения чего-н.”. БАС: “1. Страна, в которой человек родился и гражданином которой является; отечество... 2. Место возникновения чего-л.”. МАС повторяет почти слово в слово БАС. СОШ: “1. Отечество, родная страна... 2. Место рождения, происхождения кого– чего-н.”.

Замечу, что при таком понимании слова *родина* (в 1-м знач.) лишаются смысла известные сочетания *историческая родина, вторая родина*: российский немец, родившийся до войны в Республике немцев Поволжья (деды и прадеды которого тоже родились в России), покинув Россию и переехав в Германию, не может называть последнюю ни исторической, ни второй родиной.

Слова *родина, отечество, отчизна* – абсолютные синонимы. При этом некоторые словари находят стилистически окрашенными *отечество* (МАС, СОШ) и *отчизна* (ТСУ, МАС).

Продедаем языковой эксперимент. Опробуем сочетательные возможности слов *государство, страна, родина, отечество, отчизна*.

Мы говорим *рабовладельческое, феодальное, буржуазное, капиталистическое, империалистическое, демократическое, авторитарное, тоталитарное, фашистское, полицейское, агрессивное, колониальное, советское, федеративное, конфедеративное, унитарное, парламентское, президентское, самодержавное, монархическое, царское государство*. Почти той же сочетательной возможностью обладает слово *страна* (во 2-м знач.) Но вряд ли мы скажем *рабовладельческое, феодальное, буржуазное, демократическое, авторитарное, тоталитарное, фашистское отечество*. И то же самое со словом *отчизна*.

Но вот Ленин сказал *социалистическое отечество*. Сказал в 1918 г., когда немецкие войска подходили к Петрограду. Руководители большевиков оказались в идеологически затруднительном положении. Во-первых, лозунг “защиты отечества” перед первой мировой войной и в ходе ее был ими отвергнут как лицемерный, маскирующий захватническую политику империалистических держав. Во-вторых, они помнили: в “Коммунистическом манифесте” Маркса и Энгельса сказано, что у пролетариев нет отечества. Но они знали и другое: как воодушевлял яacobинский призыв “Отечество в опасности!” защитников республики,

противостоявших соединенным силам европейских монархий. И 21 февраля 1918 г. Совнарком принимает декрет, написанный и подписанный Лениным. Декрет называется “Социалистическое отечество в опасности!” и заканчивается словами “Да здравствует социалистическое отечество!”. Декрет был опубликован 22 февраля в “Правде”, “Известиях ВЦИК”, а также в листовках. Чуть позже Ленин пояснял, что большевики стали оборонцами после 25 октября 1917 г., что речь идет о защите отечества как социализма.

Интересно, что в справочном томе к так называемому Полному собранию сочинений Ленина под рубрику “отечество социалистическое” попали и страницы, где Ленин сочетает прилагательное *социалистическое* не со словом *отечество*, а со словом *государство*. Видимо, в языковом сознании составителей *отечество* и *государство* уже были связаны узами синонимии.

Ленинское сочетание *социалистическое отечество* (даже с учетом пояснений) было достаточно оригинальным. Но перейдем к сочетательным возможностям слова *родина* (в 1-м знач.). Все прилагательные, которые мы только что свободно сочетали со словом *государство*, вряд ли соединим в своем речи со словом *родина* в этом значении, а такие сочетания, как *президентская родина*, *царская родина* несомненно будут поняты в смысле “место рождения президента, царя”, т.е. *родина* будет понята в своем втором значении.

В III томе ТСУ (сдан в производство в 1938 г.) в статье “Родина” стоит пример употребления от авторов (не исключено, что это инициатива “политрука” в беспартийном авторском коллективе – Б.М. Волина), где *родина* сочетается с *социалистическая*. Еще до Отечественной войны шел фильм “За нашу Советскую родину!”. Во время войны газеты заменили лозунг “Пролетарии всех стран, соединяйтесь!” на “За нашу Советскую Родину!”. В одной из песен тех лет звучали слова: “Много верст в походах пройдено По земле и по воде, Но советской нашей Родины не забыли мы нигде”. И со временем перестали казаться странными такие сочетания, хотя и не говорили, что кто-то уехал на свою *капиталистическую родину*.

Наша родина стала отождествляться с государством. А ведь в этой же статье “Родина” в ТСУ перед авторским примером употребления этого слова стоит цитата из Ленина: “Мы любим свой язык и свою родину”. Это написано до революции. Не в любви же к царскому государству он признавался. И не у государства просил прощения Некрасов, когда писал: “За каплю крови общую с народом Вины мои, о Родина! прости”. И не о свободе государства говорил он же в уже процитированных строчках, начинающихся с обращения “Мать-отчизна!”

Характерен диалог Василия Аксенова и Н. Хрущева в 1963 году: “– Ведь об одном думаю, когда вижу, – об интересах родины”, – сказал Аксенов.

“– Какой родины? – зашумел опять Хрущев. – Пастернак тоже говорил о своей родине, а имел в виду совсем не то, что мы имеем в виду! О какой родине вы говорите, Аксенов?”

– Я говорю о советской родине, – сказал я. – Другой у нас нет.

– Вот так и говорите! – приказал он. – Вот так впредь и говорите” (Аргументы и факты. 1991. № 45).

А вот мнение писателя Виталия Коротича: «Вообще, это два разных понятия, которые у нас нарочито путают: Родина и государство. Родина одна-единственная (вся чушь о “второй”, “исторической”, “биологической” и прочих “родинах”, по-моему, есть деловитое вранье)... Были на моей Родине государства, руководимые монголами, поляками, царем и его знатью, большевиками (кем еще?). Родина – неизменна. Лозунг “За нашу советскую Родину!” нелеп, потому что Родина не бывает ни советской, ни анти» (Вечерний клуб. 1998. 10 сент.).

“Государство – основной институт политической системы и политической организации общества, создаваемый для организации жизнедеятельности общества в целом и проведения политики правящих классов и др. социальных групп и слоев населения” (Политологический словарь).

В. Коротич сказал: “нарочито путают”. Что нарочито, это верно. Только не путают, а выдают понятия, являющиеся лексическими значениями слов *государство* и *родина*, за одно и то же понятие. Иначе говоря, сознательно и в директивном порядке назначают слова *государство* и *родина* в абсолютные синонимы. Пропагандистская машина тоталитарного государства внедряла эту синонимику в массовое языковое сознание на протяжении десятилетий, преодолевая в нем сопротивление языковой интуиции (языкового чутья), совершая тем самым еще одно насилие – насилие над языком, над его лексико-семантической и сочетательной нормами. Более того, государство (а не родина) юридически закрепило эту синонимику и вживляло ее в массовое правовое сознание. Государство ввело в уголовные кодексы всех республик СССР статью под названием “Измена Родине”. Ни в одном подлинно демократическом государстве нет в кодексах статьи под таким названием. Это тоже наш позор. И прожили мы с ним до 1997 г. (в первом уголовном кодексе РСФСР, появившемся при жизни Ленина, статьи с таким заглавием не было).

В УК РСФСР (в издании 1978 г.) статья 64-я “Измена Родине” находилась в главе первой “Государственные преступления”, в первом разделе “особо опасные государственные преступления”. В статье читаем: “измена Родине, то есть деяние, умышленно совершенное гражданином СССР в ущерб государственной независимости, территориальной неприкосновенности или военной мощи СССР: переход на сторону врага, шпионаж, выдача государственной или военной тайны иностранному государству, бегство за границу или отказ возвратиться из-за границы в СССР, оказание иностранному государству помощи в проведении

враждебной деятельности против СССР, а равно заговор с целью захвата власти...". Какой ущерб государственной независимости, территориальной целостности, военной мощи могли нанести отказ возвратиться или бегство за границу сами по себе? В 1870 г. Герман Лопатин помог бежать за границу Петру Лаврову и готовил побег туда же Чернышевского. Бежали за границу и большевики, в их числе Ленин. Приходило ли кому-нибудь в голову называть это изменой Родине? Организовали "заговор с целью захвата власти" декабристы. Их называли государственными преступниками, но не изменниками Родины. И не изменял своей родине посол Германии в СССР Шуленбург, сообщивший руководству СССР о готовящемся нападении. И не были изменниками Родины немецкие офицеры, входившие в "Красную Капеллу". В 1974 г. Александру Солженицыну было предъявлено обвинение по этой статье. Солженицын – изменник Родины?

Мне довелось дважды печатно в 1994 г. (в "Московских новостях" и "Известиях") обратить внимание на несоответствие названия 64-й статьи ее содержанию.

В Уголовном кодексе РФ, вступившем в силу с 1 января 1997 г. статья 275-я, заменившая 64-ю, называется точно "Государственная измена". Здесь читаем: "Государственная измена, то есть шпионаж, выдача государственной тайны либо иное оказание помощи иностранному государству, иностранной организации или их представителям в проведении враждебной деятельности в ущерб Российской Федерации, совершенная гражданином Российской Федерации..."

Господствующий, правящий класс – номенклатура (или, по М. Джиласу, новый класс, по Н. Бердяеву, привилегированный класс) в годы сталинщины огосударствила, так сказать, родину, присвоила ее себе, как заводы, фабрики. И если французский король сказал: "Государство – это я", то номенклатура пошла дальше: "Родина – это я".



Специальный ИЛИ специализированный?

В.И. КРАСНЫХ,
кандидат философских наук

Прилагательное *специальный* впервые было зафиксировано в Новом словотолкователе Н. Яновского в 1806 г. Как и многие другие прилагательные абстрактного характера, оно было заимствовано из латинского языка. Во всех толковых словарях нашего времени начиная со Словаря Ушакова у этого слова выделяются два значения. Приведем толкование, содержащееся в БАС и МАС (в скобках, как и раньше, указываем существительные, употребляемые с этим словом в указанных двух словарях):

1. **Предназначенный исключительно для чего-л.; имеющий особое назначение, особый** (С. станки, костюм, поезд, задание, заказ и др.).
2. **Относящийся к какой-л. отдельной отрасли науки, техники, искусства; предназначенный для специалистов этой отрасли** (С. статьи, образование, учебное заведение, термины).

Приведенное толкование представляется нам в целом несколько громоздким, а выделение второго значения недостаточно оправданным и искусственным, поскольку граница между этими значениями весьма условна. По нашему мнению, в этом случае речь может идти о выделении оттенка основного лексического значения. Исходя из этого, мы предлагаем сформулировать значение прилагательного *специальный* следующим образом: **“Особый, предназначенный для какой-либо определенной цели; относящийся к отдельной области, отрасли чего-либо, присущий той или иной специальности”**. Такое толкование, на наш взгляд, является более точным и компактным и вполне отвечает современному узусу.

Рассматриваемое прилагательное сочетается с очень широким кругом существительных, как конкретных, так и абстрактных: *автобус, бригада, вагон, гостиница, группа, диета, журнал, задание, заказ, закон, инструменты, исследование, командировка, комиссия, корреспондент, костюм, курс (обмена валюты), лечение, мероприятие, механизм, наблюдение, обслуживание, одежда, операция, организация, подразделение, поезд, поликлиника, помещение, помощник, поручение, правила, представитель, прибор, приглашение, программа, проект, пропуск, раздел, разрешение, рейс, самолет, станок, стоянка, тренировка, ферма, фирма, фонд, школа, экспедиция; образование, учебное заведение, литература, курс (лекций), семинар, симпозиум, методика, терминология* и др. Приведем примеры:

“Специальная комиссия пока не раскрыла все военные секреты Багдада” (Сегодня. 1994. 16 июня); “Жильцы готовы частично оплатить оборудование *специального помещения* для консержки и ее работу” (Метро. 2000. 26 янв.); “Для полноценного функционирования агентства нужен *специальный закон*” (Итоги. 1999. № 10); “Участникам спектакля выдавались *специальные пропуска*” (Г. Вишневская. Галина); “Припарковав машину на *специальной стоянке*, мы вошли в огромный холл” (Т. Полякова. Я – ваши неприятности); “Были посланы *специальные экспедиции* на поиски людей в малоизвестные места Каракумов” (Аргументы и факты. 1994. № 27); “Муклевич имел *специальное морское и техническое образование*” (Сегодня. 1994. 7 июня); “Кабинет Синицына был заставлен стеллажами со *специальной литературой* и папками с документами” (М. Серова. Всем назло); “Для *специальных выездных семинаров* арендовались дома отдыха и пансионаты” (П. Дашкова. Золотой песок).

Как видно из сравнения приведенных примеров, какой-либо четкой, “непроходимой” границы между основным значением прилагательного и его оттенком не существует, поскольку последний как бы перекрывается первым, растворяется в нем. По существу, здесь имело бы смысл говорить лишь об уточнении в ряде случаев указанного обобщающего значения и об актуализации некоторых его скрытых нюансов.

Интересно отметить и такое явление. Многие словосочетания с прилагательным *специальный*, как и сочетания со словом *туристический* (см. нашу статью в журнале “Русская речь” № 5 за 1999 г.) за счет семантического стяжения превращаются в сложные слова, так называемые универбы. Однако если образование универбов со словом *туристический* (напр., *турбюро, турзаявка*) – процесс активный, характерный для наших дней, то возникновение и функционирование многочисленных универбов с морфемой *спец* – яркая примета советского времени.

“Толковый словарь русского языка конца XX в.” (СПб., 1998) следующим образом классифицирует дополнительные оттенки значения,

вносимые морфемой *спец*, в такие сложные слова-советизмы: 1. Специальный, закрытый, предназначенный для избранных, привилегированный (например, *спецзаказ, спецпак, спецателье, спецмагазин, спецбольница, спецполиклиника, спецстоловая, спецбуфет, спецраспределитель*); 2. Специальный, предназначенный для особых преступников (например, *спецтюрьма, спецлагерь, спецпсихушка*); 3. Специальный, засекреченный, недоступный (например, *спецхран*). Большинство таких советизмов перешло из активного словарного запаса в пассивный и становится историзмами.

Однако четвертое значение морфемы *спец* (а именно: специальный, предназначенный для выполнения особых задач или особо трудных заданий) актуально и для наших дней. Сюда относятся такие сложные слова: *спецгруппа, спецотряд, спецназ* (отряд специального назначения в системе Вооруженных сил, МВД и ФСБ), *спецподразделение, спецрейс, спецслужбы*. Все эти слова широко употребляются в современных средствах массовой информации. Кроме того, в современной разговорной речи часто встречаются и такие всем привычные сокращения: *спецкурс, спецсеминар* (в вузах), *спецподготовка* (обучение студентов на военных кафедрах вузов), *спецодежда, спецшкола* (школа с углубленным изучением иностранного языка или других школьных дисциплин).

В отличие от прилагательного *специальный* его пароним *специализированный* (причастие, употребляемое в качестве прилагательного) появился в русском языке сравнительно поздно (впервые зарегистрирован в Словаре Ушакова в 1940 г.). БАС дает следующее толкование этому слову: **“Предназначенный для работы или использования в какой-л. одной узкой области, отрасли; имеющий специальное, особое назначение”**. Круг существительных, сочетающихся с этим словом, значительно уже, чем со словом *специальный*: *агентство, ателье, бригада, булочная, выставка, журнал, издание, клиника, магазин, мастерская, предприятие, санаторий, транспорт, ученый совет, ферма, фирма* и другие. Например:

“Специализированные булочные работают, как правило, с реализацией” (Моск. комс. 1997. 2 дек.); “Нужно проводить *специализированные выставки* сибирских кошек с большим числом участников” (Друг. 1999. № 1) «“Эксперт” вначале был журналом скорее экономическим, *специализированным изданием*» (Мир за неделю. 1999. № 11); “В 1993 г. уже пять торговых фирм имели *специализированные магазины*” (Итоги. 1999. № 44); “Фотографии нашего любимца (кота Лелика) печатали в *специализированных журналах*” (Работница. 1998. Окт.).

Несмотря на некоторое неизбежное сходство в толковании рассматриваемых паронимов, между ними имеется тем не менее существенное различие как с точки зрения их значения, так и сочетаемости. Прилагательное *специальный* в отличие от его паронима *специализирован-*

ный обладает очень широкой сочетаемостью с существительными (см. выше) и используется для выделения какого-либо лица, предмета (в грамматическом смысле слова) или действия из ряда себе подобных. При этом имеется в виду их целевое предназначение или принадлежность к определенной (но достаточно широкой) области человеческой деятельности.

Что же касается прилагательного *специализированный*, то оно, имея значительные ограничения в лексической сочетаемости, выступает, как правило, в качестве определения к существительным, обозначающим сферу трудовой деятельности человека (напр., *магазин, ателье, журнал* и др.), причем в этом случае указанная деятельность обязательно характеризуется весьма узкой направленностью, т.е. специализацией. Именно поэтому многие существительные, легко сочетающиеся со словом *специальный* (напр., *костюм, прибор, статья, механизм, пропуск, корреспондент, разрешение*), не могут употребляться с паронимом *специализированный*.

В то же время надо отметить и другую закономерность: существительные, сочетающиеся со словом *специализированный*, могут обычно употребляться и со словом *специальный*, образуя при этом паронимические словосочетания. Сравним несколько таких словосочетаний, смысловое различие между которыми вполне ощутимо. Так, например, когда мы употребляем словосочетания *специальный магазин, специальный санаторий, специальное ателье*, то имеем в виду, что эти учреждения носят закрытый характер и предназначены для избранного, привилегированного круга людей. С другой стороны, словосочетания *специализированный магазин и специализированное ателье* означают, что там продают или шьют только определенный вид изделий – мужскую верхнюю одежду, женское платье, изделия из меха, обувь, головные уборы и т.д. А сочетание *специализированный санаторий* употребляется тогда, когда речь идет о лечении заболеваний той или иной группы – сердечно-сосудистых, желудочно-кишечных, урологических и т.д.

Аналогичным образом можно провести разграничение словосочетаний (и, естественно, стоящих за ними понятий) *специальный журнал* (в знач.: “периодическое издание”) и *специализированный журнал*. Специальный журнал обычно адресован более широкой аудитории, чем специализированный. Каждый читатель выбирает для себя тот или иной специальный журнал, исходя из своих интересов и увлечений, а не узкопрофессиональных потребностей. Так, издаются специальные журналы для детей (“Мурзилка”), для женщин (“Мир женщины”, “Работница”), для мужчин (“Мужской клуб”, “Андрей”), для семейного чтения (“Домовой”, “Вояж и отдых”), для любителей русского языка (“Русская речь”), для любителей собак (“Друг”) и т.д. Но есть и специализированные журналы: “Вопросы языкознания”, “Стоматология”,

“Металловедение” и др., предназначенные для сравнительно узкого круга специалистов. Попутно заметим, что прилагательное *специальный* может служить определением к слову *журнал*, употребляемому и в другом значении, – специальный *журнал* для наблюдений, для регистрации дежурств. Прилагательное *специализированный* сочетаться со словом *журнал* в этом значении, естественно, не может.

Ввиду семантической близости рассматриваемых прилагательных встречаются случаи ошибочного употребления слова *специализированный* вместо *специальный*. Рассмотрим три примера из текущей периодики: “Дети, страдающие этими редкими заболеваниями, нуждаются в *специализированном питании* либо многие годы, либо всю жизнь” (Известия. 1994. 28 июня); “На Западе имеются *специализированные институты* для глухих, но у них нет такой практики, как у нас” (Мир за неделю. 1999. № 10); “Пытался устроиться на работу при помощи *специализированных изданий*, публикующих информацию о вакансиях” (Итоги. 1999. № 10).

В этих предложениях, вероятно, было бы правильнее написать: “нуждаются в *специальном питании*” (аналогично: “нуждаются в *специальной диете*”), “имеются *специальные институты*” (аналогично: “имеются *специальные школы*”) и “при помощи *специальных изданий*”, поскольку издания, о которых идет речь, не являются научными и публикуют информацию не для специалистов какой-либо одной узкой области, а для представителей разных специальностей, ищущих работу. Впрочем, грань, разделяющая такие случаи, является весьма тонкой и не всегда очевидной с первого взгляда. Надеемся, что предложенные нами принципы разграничения указанных паронимов помогут избежать таких ошибок.

У рассмотренных паронимов имеется “близкий родственник” – однокоренное прилагательное *специфический*. Оно, как и прилагательное *специальный*, было впервые зарегистрировано в Новом словотолкователе Н. Яновского в 1806 г. Его значение можно сформулировать следующим образом: **“Свойственный только данному предмету или явлению; характерный, отличительный, своеобразный”**. Круг лексической сочетаемости этого слова значительно уже, чем у прилагательного *специальный*, но шире, чем у слова *специализированный*: *аромат, бизнес, вкус, голос, деятельность, запах, звук, качество, контингент, мероприятие, наклонности, обстановка, объяснение, окружение, особенности, ощущение, подход, привкус, проблема, проявление чего-л., свойства, способности, среда, форма, черты* (характера, стиля), *явление* и т.д. Обратим внимание на то, что в приведенном списке отсутствуют существительные, обозначающие предметы в узком (не грамматическом) смысле слова, т.е. вещи. Приведем ряд примеров, иллюстрирующих употребление этого прилагательного:

“У банковских юристов помимо перечисленных проблем есть и *спе-*

цифические” (Деньги. 1999. № 4); “Для заправки салатов лучше брать нерафинированное масло – ароматное, со *специфическим привкусом*” (Мир за неделю. 1999. № 13); “Замечательно Райзман подал эту особую, *специфическую* учительскую *среду*, в которой мало мужчин...” (О. Аросева. Без грима); “Есть и другие *специфические формы* работы с народными избранниками” (Комс. правда. 1997. 21 ноября); “Описывающая лексику литературного языка, общие словари отражают ее *специфические особенности*” (Г.П. Князькова. К проблеме отбора слов в словарях).

Любопытно также отметить, что в некоторых случаях, когда говорящий, имея в виду негативную оценку какого-либо явления или факта, не хочет говорить об этом прямо, прилагательное *специфический* употребляется в качестве своего рода эвфемизма. Приведем два примера из устной речи: “– Ну и репертуар у этой певицы – весьма *специфический*”; “– А *запашок-то* тут у вас на даче... *специфический*” (Соседи по даче, которые живут там в течение всего года, держат свиней и корову).

Помимо относительного прилагательного *специфический*, имеется также качественное прилагательное *специфичный*, появившееся в русском языке значительно позже (впервые отмечено в Словаре Ушакова в 1940 г.). Толковые словари рассматривают эти однокоренные прилагательные как синонимы. Однако слово *специфичный*, по нашим наблюдениям, встречается значительно реже, чем *специфический*. Во всяком случае мы располагаем лишь двумя цитатами, иллюстрирующими его употребление, причем во втором примере это качественное прилагательное, будучи сказуемым, а не определением, употребляется в краткой форме, которой не имеет относительное прилагательное *специфический*: “Анализируя тексты Достоевского, В.В. Виноградов глубоко и адекватно раскрывал наиболее *специфичные черты* индивидуального опыта художника” (Русистика сегодня. 1995. № 1); “Не менее *специфична и ситуация* со структурами иностранных банков на территории России” (Мир за неделю. 1999. № 9).

Таковы значения, основные особенности лексической сочетаемости и функционирования в речи однокоренных прилагательных *специальный*, *специализированный* и *специфический* (*специфичный*), правильное употребление которых вызывает определенные трудности у современного носителя русского языка.

*Язык рекламы***Композиция рекламного текста***Н.И. КЛУШИНА,**кандидат филологических наук*

Рекламные тексты преследуют определенную цель: убедить кого бы то ни было в преимуществах рекламируемого Товара. Это слово написано с прописной буквы, так как рассматривается нами как символ. Товар можно понимать очень широко: вещь, политик, определенная социальная идея. В антирекламе стратегия та же: убедить. Только не в преимуществах, а в отрицательных качествах конкурирующего товара или лица.

Своей коммуникативной установкой рекламные тексты отличаются, например, от информационных, в которых главная цель – сообщение; или от художественных, где на первый план выдвигаются эстетические задачи. Функция рекламных текстов – убеждающая, воздействующая. Этой задаче – убедить, разрекламировать, продвинуть идею, товар – подчинена вся стилистика рекламных текстов.

Успеху рекламы прежде всего помогает грамотно выстроенная композиция. Необходимо учитывать, что существуют сильные позиции текста, обращающие на себя произвольное внимание читателя (термин Н.Н. Кохтева, который различает также и произвольное внимание, когда читатель сознательно хочет получить информацию, например, о рекламируемом лекарстве – где оно продается, его фармакологические свойства – и осознанно обращает внимание на такие рекламные тексты). Оно включается, когда сознание сосредоточивается на тексте рекламы из-за особенностей самой рекламы, как сильного раздражителя (Русская речь. 1991. № 4. С. 68).

Одним из наиболее сильных “раздражителей” на газетной полосе является заголовок. Именно он привлекает внимание к материалу своим шрифтом, афористичностью. Заголовок обрисовывает тему. И читатель по нему ориентируется, интересен ли ему данный материал, будет ли он его читать. Эту особенность газетных заголовков нередко используют составители рекламных текстов: “ПриЛАСКАйте шерстяного капризулю” (реклама стирального порошка “Ласка” в АиФ. 2000. № 8).

Выразительны заголовки, включающие поговорки, строчки из из-

вестных песен, литературных произведений: “Хорошее море – Мертвое море” (реклама турпоездки в Израиль – АиФ. 2000. № 9); “Штопор: о, сколько нам открытий чудных!” (АиФ. 2000. № 8); «И один в поле “Витязь”!» (об аппарате квантовой терапии “Витязь” – там же). Это так называемые заголовки-аллюзии, которые описаны Г.С. Шалимовой: “Аллюзия – это стилистическая фигура, которая заключается в соотношении описываемого с устойчивым, общеизвестным понятием или высказыванием литературного, исторического или мифологического характера. В основе такого оформления заглавия лежит стремление пишущего не прямо, открыто выразить содержание публикуемого материала, а сделать это иносказательно, намеком, вызвав у читателя определенные ассоциации с каким-либо явлением, событием или известным произведением и заинтересовать его, заставляя домысливать недосказанное” (Форма новая – проблемы старые (об одной модели газетного заглавия) // Журналистика и культура русской речи. Вып. 1. МГУ, ф-т журналистики, 1996. С. 80–90).

Но подобные перифразы при частом употреблении могут обернуться штампами. Так, Г.С. Шалимова отмечает, что фильм “О бедном гусаре замолвите слово” перефразирован в заголовках много раз: “О бедной рекламе замолвите слово”, “О тайном агенте замолвите слово”, “О бедной дворняжке замолвите слово”, “О новом французе замолвите слово” и т.п. Формально этот заголовок можно представить в виде формулы: о бедном (бедной) х замолвите слово, где вместо х журналисты, не думая, вставляют все что угодно. Сейчас то же самое мы наблюдаем с названием фильма “Особенности национальной охоты”...

Также сильные позиции текста, привлекающие внимание адресата, – это начало (первая строка) и конец текста. Известно, что первая строка, так называемый зачин, организует текст, часто формулирует тему. Для зачина используются специальные синтаксические и стилистические средства, оформляющие начало речи. Рекламный текст «“Грин мама” дарит красоту» (“Работница”, 1999. № 4) о российской косметической серии начинается так: “С чего начинается красота?” В этом риторическом вопросе (перифразе широко известной песни “С чего начинается Родина?”), что также способствует активизации внимания адресата) содержится ключевое слово “красота”, убеждающее купить предлагаемую косметику, чтобы быть красивой (ключевое слово присутствует и в заголовке).

Рекламисты давно используют преимущества первых строк. Часто свою рекламу они начинают с писем, вырезок, выделяя их шрифтом, цветом и т.д. Так, реклама препаратов Редэт от комаров (“Чтобы не кормить комаров”) предваряется письмом-вопросом: «В прошлом году с успехом пользовались препаратами серии “Редэт”. Хотелось бы узнать, чем отличается крем для взрослых от крема для детей?». В нача-

ло рекламного текста также помещают логотипы фирм: “Настоящее российское качество” (АиФ. 2000. № 3).

Таким образом, зачин играет важную роль в тексте. Он настраивает читателя на получение ожидаемой информации, которая содержится в основной части материала. Здесь говорится о достоинствах рекламируемого объекта, приводятся аргументы в его пользу. Если рекламный текст большого объема, он делится на абзацы, часто совпадающие со строфами. Начало этих строф также принято называть зачином, только зачином строфы. Это тоже сильные позиции текста, так как “они образуют смысловой и синтаксический каркас текста, являются опорными фразами, по которым развивается тема. Зачины строф – это своеобразные двигатели текста, развивающие мысль” (Солганик Г.Я. Стилистика текста. М., 1997. С. 67). Следовательно, как доказывает Г.Я. Солганик, совокупность зачинов – это не что иное, как краткое содержание, реферат текста.

Не менее важен и конец рекламы, надолго остающийся в памяти. Об этом свойстве концовки рекламисты знали давно. Именно в конце текста помещаются рекламные слоганы: “Л. Ореаль. Париж. Ведь я этого достойна”; “Китекет – здоровый кот без всяких хлопот”; «Чистота. Чисто. Тайд»». Н.Н. Кохтев в статье “Психология восприятия и композиция рекламы” (Русская речь. 1991. № 4. С. 69) писал, что рекламный лозунг (слоган) – это ударная строка в композиции, “выражение, способное мгновенно восприниматься и запоминаться на долгое время без всякого усилия со стороны читателя”. Грамотно составленные слоганы в рекламе подчеркивают неповторимый стиль конкретной фирмы. Концовка надолго остается в памяти, содержит ту информацию, ради которой и был создан рекламный текст: номера телефонов, адреса, где можно купить предлагаемую продукцию. Так, уже упомянутая реклама “Защитите свой урожай” заканчивается слоганом: “Грин Бэлт – ваш урожай под нашей защитой!”, и даны телефоны для оптовиков.

Основная примета современных концовок рекламных текстов, в отличие от прошлых этикетных формул: “Мы рады вам”, “Мы всегда с вами”, “Будьте здоровы” – это “личностный”, “фирменный” подход к рекламе: обязательно в конце присутствуют название фирмы, или марки, или рекламируемого товара (“Несквик – напиток замечательный...”; “Л. Ореаль. Париж...” и т.д.), восклицательная интонация (или открытый призыв) и ключевое, положительно ориентирующее, убеждающее слово: “напиток ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ, шоколадный и питательный”; “Грин Бэлт – ваш урожай под нашей защитой”.

Как видим, грамотно продуманная композиция, ориентирующий заголовок, запоминающиеся начало и конец текста, информативные зачины строф могут стать действенным инструментом в умелых руках рекламистов.



РУКОПИСИ ПСКОВСКОГО СКРИПТОРИЯ НАЧАЛА XIV ВЕКА

Е.В. ГОРСКАЯ

Дошедшие до нас древние рукописи – свидетельства высокого уровня книжной культуры на Руси. Известно, что книги чаще всего создавались в монастырях и церквях, где возникали *скриптории* – рукописные мастерские. Писцы и изографы вкладывали в работу все свое искусство. Однако деятельность средневековых скрипториев еще недостаточно изучена из-за отрывочности источников по истории древнерусского книгописания. В предлагаемой статье речь пойдет о четырех сохранившихся пергаменных кодексах начала XIV века.

Рукописи, переписанные псковичами, представляют собой церковнославянские богослужебные книги: “Шестоднев служебный” (около 1312 г. РГАДА, собр. библиотеки Московской Синодальной типографии), “Пролог, март–август” (1-я краткая редакция, начало XIV в.), “Паремейник” (1312–1314 гг.). Последние пять листов “Паремейника” приплетены к “Минее служебной, март–апрель” (конец XIV века); “Пролог, сентябрь–февраль” (1-я краткая редакция, 1312 г.).

В создании рукописей принимали участие священник псковской церкви святителя Николая Мирликийского Андрей Микулинский и его сын дьяк Козьма Попович. Кроме того, исследователями отмечалось участие и других писцов, что позволяет говорить о существовании Псковского скриптория. Имя Андрея “попа святого Николы” упоминается в Псковской III летописи под 1327 годом среди послов к князю Ивану Даниловичу Калите: “И послаша псковичи послове ко князю Ивану, Селогу посадника, а с ним Олуферья Мандыевича, Фомищу Дорожкинина, Явила Полоуектовича, Андреа попа святого Николы”

(Псковская III летопись: Строевский список // Псковские летописи/Под ред. А.Н. Насонова. М., 1955. Вып. 2). Вероятно, Андрей Микулинский, кроме того, что был священником, занимался переписыванием книг. Об этом говорит выходная запись “Пролога”: а писано многогрешною рукою Андрея попъ микулинскыйи и сынъ его ѿкозма три месяци къ стому въздвиженію на княжъ дворъ аминь”. Есть основание предположить, что поп Андрей возглавлял существовавший при церкви скрипторий.

В Пскове в XIV веке могли действовать две церкви, посвященные памяти святителя Николая Мирликийского, – церковь Николы на Всо-се (у Опоки) и церковь Николы над Греблей в Доматове стене (Лабутина И.С. Историческая топография Пскова в XIV–XV вв. М., 1985). В какой из них служил священник Андрей, неясно.

Рассматриваемые памятники были доставлены в 1679 году в библиотеку при Московском печатном дворе по приказу патриарха Иоакима для “книжной sprawy” (Покровский А.А. Древнее псково-новгородское письменное наследие. М., 1916). Пометы, сделанные на внутренней стороне крышки (переплет, обложка) или на полях рукописей, содержат название церкви или монастыря, откуда поступала книга.

Важным признаком происхождения рукописей из одного скриптория является их формат. Паремейник и два Пролога близки по формату, меньшим по размеру является Шестоднев. Обращает на себя внимание также сходство в художественном оформлении заставок и инициалов. Наряду с инициалами тератологического (изображение зверей, чудовищ) стиля, в памятниках встречаются плетеные геометрические инициалы с растительными и антропоморфными элементами.

Обратимся конкретно к рукописям.

Паремейник 1312–1313. Выходная запись, сделанная Козьмой, показывает, что Паремейник был переписан для Пантелеимонова Дальнего монастыря: “въ лето 1313 кончаны быша книги си. месяца маиа въ 17 день. на память святого апостола андроника единого от 70 къ святому мученику пантелеймону за 5 върсть а стяженье рабу божию радиона черньча съ борисомъ. а псаны кънигы си при поле григории... [затерто несколько букв] и при игумене радионе бяше бо тѣгда игуменомъ у святого пантелеимона а борись бяше перевозникомъ а при архиепископе давиде новгородскомъ при великомъ князи михаиле при князи борису при пльсковскомъ том же лете въшьль въ пльсковъ а на горе церковь почаша писати. а псалъ козма дякъ поповиць...”

Как видно из записи, заказчиками рукописи были чернец Пантелеимонова монастыря Родион и перевозчик Борис. Запись писца примечательна еще и тем, что содержит сведения, не известные по другим источникам: упоминается князь Борис, который в 1313 году “вышелъ въ Пльсков”, сообщает о росписи псковской церкви Рождества Богородицы на Снетной горе. Церковь, по свидетельству летописей, была за-

ложена в 1309–1310 годах (Покровский; Лабутина. Указ. соч.). Завершается запись самохарактеристикой писца: просьбой исправлять ошибки. В конце с помощью цифровой тайнописи зашифровано слово *аминь*. На втором листе дяк Козьма сообщает о времени начала своей работы: “а початы быша книги си месяца декабря 17 на памат 3 отрок”. Следовательно, Паремейник переписывался с 17 декабря 1312 по 17 мая 1313 годов.

В рукописи на свободном от основного текста пространстве встречаются и другие записи, дающие представление о характере человека, который их оставил. Это записи повествовательного характера, как молитвенные: “святыи пантелеимоне поспеши къ мни убогу поже [так!] грешну”; “святыи поспеши и молитвами техъ черньчъвъ”; так и дневниковые, бытового содержания: “сести позаутрыкати хотя пост”; “Богъ даи съдоровие к сему богатствию что, кунъ то все въ калите что пъртъ то все на себе удави ся убожие смотря на мене”; “подобаетъ черньчю продавше манотью и купити собе подобать” и пр.

Долгое время считалось, что Козьма переписал весь Паремейник один, но В.В. Калугин установил, что Андрей Микулинский также эпизодически участвовал в работе (Калугин В.В. Андрей Микулинский и Козьма Попович – псковские писцы XIV в. // Книжные центры Древней Руси. СПб., 1991). Интересно, что Козьма, указывая дату окончания работы, употребил букву *ц* в значении 800. Как показывают исследования В.В. Калугина, в памятниках псковской письменности начала XIV века для обозначения числа 800 могла употребляться буква *ц*, вместо традиционной *ѿ* (омеги), а для числа 900 – *ѿ* (юс малый). Поэтому при переводе даты на современное летосчисление получаем – 1313 (6821–5508).

Паремейник содержит отрывки из Священного Писания, в основном, книг Ветхого Завета, расположенных в порядке чтения при богослужении. Его текст помещен в два столбца по 22 строки в каждом, рукопись исполнена уставом.

Пролог, сентябрь-февраль (краткая редакция, около 1313), написан для Псковского Климентовского монастыря: “Въ лето 1313 [далее стерто] индикта въ 11 кончаны быша книги си къ святому мученику климънту при попе александре. при старосте романе кузове. при микифоре митрошкиници. а псалъ козма поповиць. а чи буду кде помялъ ся въ своеи грубости и пьянстве. отци и братия исправче чтете и бога деля а мене не кленете аминь...”. По этой записи исследователи полагают, что Пролог был написан в 1313 году, – с этим годом совпадает индикт 11 (Щелкина М.В., Протасьева Т.Н., Костюхина Л.М., Голышенко В.С. Описание пергаменных рукописей Государственного исторического музея. Ч. I. Рукописи русские. М., 1965).

В выходной записи не упоминается заказчик книги, но называются *поп Александр, староста Роман*. Подобные записи, содержащие имена

игуменов, священников, церковных старост, указывали на владельцев, которым пожертвование книги было обещано, и могут быть “эквивалентом указанию заказчика” (Столярова Л.В. Древнерусские надписи XI–XIV веков на пергаменных кодексах. М., 1998). Запись содержит просьбы: исправлять и не клясть.

Наклейка на верхней переплетной крышке: “Книга Климянтовско-го м”, – подтверждает, что рукопись предназначалась для вклада в Климентовский монастырь.

На листах рукописи встречаются также традиционные молитвенные обращения и дневниковые записи, например: “святѣи христову мученице климянте поспешѣ рабу своему козме”; “о свята безмездника коз-ма и дамяне поспешѣ бързо”; “охъ охъ голова мя болят не могу пи-сати а уже ноцъ лязмы спати”; “мне меду сего игумена сего михаила горьского зануди”; “не тычь же въ бокъ не лазь же в грехъ что ть се пакъ написах”.

Установлено, что Пролог, в основном, был переписан Козьмой. Участие Андрея носило эпизодический характер. Рукопись написана уставом в два столбца по 32 строки, имеет переплет: доски, обтянутые кожей.

Пролог, март-август (1-я, краткая редакция, начало XIV в.) не имеет начала, лист 43а вырван, многие листы заклеены, некоторые надорва-ны. Доски переплета обтянуты кожей. По данным В.В. Калугина, над рукописью, кроме Андрея и Козьмы, работали еще четыре писца. Текст написан уставом в два столбца (по 22 строки). Между двумя час-тями рукописи находится лист, не имеющий проложного текста. На нем только рисунки и пробы пера.

На обороте 81 листа помещена выходная запись, из которой следу-ет, что Пролог был написан для псковской церкви Воздвижения Чест-ного Животворящего Креста Господня на Княжем дворе, причем первое летописное упоминание об этой церкви относится к 1383/84 годам. Од-нако И.С. Лабутина утверждает, что в начале XIV века, на Княжем дво-ре существовала деревянная церковь Воздвижения, а каменная на этом месте была построена значительно позже (Лабутина. Указ. соч.).

В рукописи встречаются пробы пера (“покушати чернила”) и молит-венные обращения. На том же 81 листе после выходной записи буква-ми в зеркальном отражении написано: “аминь рабу своему”.

Тексты Прологов содержат жития святых и поучительные слова Ва-силия Великого, Иоанна Златоустого и пр., расположенные по числам месяца.

Рукопись **Шестоднева служебного** (около 1312) принадлежала Псковскому Дмитровскому монастырю с Поля, о чем говорит наклей-ка на верхней переплетной крышке с пометой, сделанной скорописью XVII века: Книга дмитриевского монастыря с поля. Рукопись предста-вляет собой собрание служебных воскресных и дневных восьми гласов.

В книге также помещены евангельские чтения. Памятник заключен в переплет (доски, обтянутые кожей). Текст написан в один столбец (от 16 до 19 строк на листе). У рукописи нет выходной записи, но имеется замечание летописного характера: “въ лето 6820 месяца июля въ 5 бысть знамение на небе въ солнци третья часть погыбе солнца яко то обедню отпети”, – что позволяет датировать Шестоднев временем около 1312 года ($6820 - 5508 = 1312$), поскольку солнечное затмение на Руси было 5 июня 1312 года (Булгаков М.Б. О датировке отдельных рукописей ЦГАДА // Сов. архивы. 1972. № 4). Палеографическое сравнение Шестоднева с другими рукописями, переписанными Андреем и Козьмой, не оставляет сомнений в том, что отец с сыном работали над книгой. Кроме того в рукописи отмечены почерки еще четырех писцов (Калугин. Указ. соч.). Дважды на листах памятника встречаются молитвенные обращения к святым Козьме и Дамиану, что может служить дополнительным подтверждением участия Козьмы в создании книги: “о святая безмездника поспешита козма и дамьяне... [далее затерто]”; “о свята безмездника козьма и дамьяне поспешита” (та же запись, что и в Прологе сентября–октября). Козьма переписал большую часть текста.

Выяснение обстоятельств появления рукописей дает представление о работе скриптория, а также о личности писцов и их роли в создании памятников. Рассматриваемые материалы говорят о том, что писцы обладали высоким профессиональным мастерством и талантом. За год (1312–1313) были переписаны три пергаменных рукописи, и это только те, что нам известны.

АВТОР И ЧИТАТЕЛЬ ЖИТИЙ

*К кому обращались в своих сочинениях
Епифаний Премудрый и Пахомий Логофет*

Т.П. КУЗНЕЦОВА

Словесное произведение вне зависимости от его внутренней организации – это прежде всего монолог автора, обращенный к воображаемому читателю или слушателю. В древнерусских сочинениях автор выполняет ряд обязательных функций, на основе которых можно выделить несколько семантических планов. Прежде всего это создатель текста, организатор повествования, который с помощью слова передает свое осознание мира и всего происходящего. Повествователь незаметен, его “как будто нет”. Однако все произведение в целом является его “беседой с читателем” и рассуждением о себе самом и окружающем мире. Из сочинения читатель может ничего и не узнать фактического об авторе, но обязательно получит информацию об его манере выражать свои мысли и чувства, поймет, как книжник оценивает то или иное событие или героя. Наряду с субъектом рассказа, “реальным автором”, в древнерусских текстах есть еще и его образ – особая форма присутствия сочинителя в произведении словесности. В житиях “образ автора” имеет изначальную “надындивидуальную заданность”, типологически обусловленную и закрепленную агиографическим (церковно-житийным) каноном. Читатель сталкивается с автором-повествователем (рассказчиком в более широком смысле), автором-историографом, автором-богословом, значительно реже с автором-описателем и автором-персонажем.

Литературное сочинение – это и форма общения автора со своей воображаемой аудиторией. В связи с этим встает вопрос о том, для кого он создает его, к кому мысленно обращается, на кого ориентируется.

Агиографическая литература оказывала сильное эмоциональное воздействие. В этих сочинениях утверждались наиболее значимые конкретные религиозные, общечеловеческие и социальные ценности. Жития становились своеобразными посредниками между текстами Священного Писания и христианами. Преимущественно, по мнению Б.И. Бермана, “паству” агиографа составляли миряне, люди далекие от

духовных интересов” (Берман Б.И. Читатель жития. Агиографический канон русского средневековья и традиция его восприятия // Художественный язык Средневековья. М., 1982).

С точки зрения церковно-служебного назначения житийные чтения входили в состав службы и были задействованы в богослужении. Однако это касалось отдельных фрагментов текста. Большей частью их использовали в качестве душеполезного чтения в монастырях.

Жития могли восприниматься как со слуха, так и “с листа”, непосредственно при чтении. Ответы на вопросы: к кому мысленно обращался агиограф, создавая свое произведение, с кем вел свою воображаемую беседу, какой представлял свою аудиторию – читательской, слушательской, или читательской и слушательской одновременно – помогут составить более точное представление о манере повествования того или иного автора.

Конец XIV века и последующий XV – это время, когда практически уже был сформирован корпус русской агиографии, и можно говорить о ее национальном своеобразии. Наиболее известными создателями житий в этот период были Елифаний Премудрый и Пахомий Логофет.

Агиографические сочинения Елифания Премудрого (речь идет о “Житии Сергия Радонежского” и “Житии Стефана Пермского”) обращены к слушателям и читателям. В “Житии Сергия Радонежского” агиограф сожалеет, что о жизни великого старца еще ничего не было написано, хотя после его смерти прошло много лет. Елифаний говорит о своем намерении рассказать о Сергии. «Аще бо не писано будет старцево житие, но оставлено купно без въспоминания, то се убо никако же повредит святого того старьца, еже не получити ему от нас въспоминания же и писания... Но мы сами от сего не пользуемся, оставляюще такую и таковую пользу. И того ради сие вся събравъще, начинаем писати, яко да и прочии мниси, яже не суть видали старца, да и те прочтут и поревнують старцево добродетели и его житию веруют; “блажени бо, рече, – не видевше вероваша”».

Повествование адресовано монахам, которые ничего не знали о Сергии. Елифаний надеялся, что, прочитав его сочинение, узнав о святом, “некто слышавъ, поревнует въслед жития его ходити и от сего примет плъзу”. Агиограф, вероятно, предполагал, что для “желающих уведати” его житие – это одновременно и источник информации о жизни праведника, и частичка истории церкви, и духовная поддержка инокам (как рассказ о преодоленных святым трудностях), и побуждения следовать примеру подвижника.

В “Житии Сергия Радонежского” автор подробно говорит о детстве и юности своего героя. Рассказ о “белецком” житии необходим ему, чтобы показать, “почитающимъ и послушающимъ”, “каков былъ изъ млада” Сергей. “Почитающие” и “послушающие” – это воображаемая

читательская и слушательская аудитория агиографа, те, для кого создается произведение, кому оно предназначается.

Во вступлении к “Житию Стефана Пермского” Епифаний Премудрый также обращается к слушателям и читателям. “Но азъ грешный, – пишет автор в традиционно самоуничижительной форме, – и смиренномудрием припадаю и со умилением мало нечто събеседую к почитающим и къ слышающим, купно же и молитвуя и простыня проося: ци будет ми негде положилася речь зазорна – или неустроена, или неухищрена, – молю вы о сем, не зазрите ми грубости и не будите ми зазиратели”. На читателей и слушателей, их заинтересованность и знания рассчитывает Епифаний: для понимания жития, адекватного (“правильного”) восприятия многочисленных цитат и реминисценций из богослужебных книг необходима определенная подготовка, соответствующая осведомленность. Понять, о чем говорится в житии, может монах, знакомый с церковной литературой, знающий библейские тексты и труды отцов церкви.

Эти основные “фоновые” знания читателей и слушателей необходимы автору: он опускает многие указания на источники цитат и свободно использует реминисценции, известные, как он, очевидно, полагает, его аудитории. Ориентация на зрительное восприятие текста, то есть на чтение, открывает большие возможности для интерпретации, позволяет автору усложнять текст. Читатель осваивает произведение самостоятельно и имеет возможность, если что-то окажется непонятным, вернуться к этому еще раз, чего нельзя сделать, воспринимая текст со слуха. Слушание предполагает одномоментное восприятие и во многом зависит от способностей тщеца.

Если Епифаний Премудрый адресует свои агиографические писания читателям и слушателям, то иной представляет себе свою аудиторию другой книжник – Пахомий Логофет (подробнее о наследии Пахомия Логофета см.: Яблонский В. Пахомий серб и его агиографические писания. СПб., 1908; Спасский Ф.Г. Русское литургическое творчество. Париж, 1951). Автор многочисленных сочинений (им написано не менее десяти житий, четырнадцати служб, двадцати одного канона), выдающийся панегирист XV века, выходец из Сербии, священноинок Святой горы Пахомий в своих житиях обращается прежде всего к слушателям. Его агиографические писания, обычно построенные по единой, четкой схеме, вероятнее всего, предназначались для восприятия со слуха.

В “Житии Сергия Радонежского” Епифаний называет свою аудиторию уже во вступительной части. Во многом благодаря этому повествование принимает форму душевной беседы автора со слушателями и читателями: ощущается, что он постоянно как бы “сверяется” с интересами и возможностями тех, кому предназначает свое сочинение. В первой редакции жития Сергия (“Житие и жизнь преподобного отца нашего игумена Сергия”), выполненной Пахомием Логофетом, автор-

ское обращение встречается в середине текста: вступление нейтрально и лишено доверительности, которая есть у Епифания.

Однако можно сказать, что редактору жития Сергия подобное обращение нужно лишь, чтобы привлечь внимание аудитории к наиболее, по его мнению, важным эпизодам. Такими ответственными моментами для Пахомия в первой редакции становятся два чуда: об изведении источника и о видении птиц. Первое из этих чудес связано с нуждами монастыря: по молитве святого начинает бить источник, и иноки получают воду. “Хощем же вашей любви беседу прострети о[т] преславных чудесь, яже творит Богъ своим угодником, и яко же некую царскую утварь или добровонку лицу представити на ползу и утешение прочитающим же и слушающих в похвалу же и честь преподобнаго отца нашего Сергия”.

Второе чудо имеет символическое значение: это предвидение того, что в будущем монастырь на Маковце станет великой обителью, предвосхищение огромного значения, которое будет иметь Сергей в последующие годы. “Многащи бо беседахом вашей любви от житии святого и от чудес его, тем же должно есть намъ ни се глубине млчанию предати, но ясно изъяснити, яко да и прочитающии и слушающих обоих опыща полза и веселие будет”. В этой редакции обращение к читателям и слушателям становится повествовательным приемом, позволяющим выделить наиболее значимые фрагменты рассказа.

В третьей редакции “Жития Сергия” Пахомий говорит только о своих слушателях. “Хощю же вашей любви исповедати нечто дивно и памяти достойно, вижду бо васъ въ сласть слушающих”. При всей традиционности подобного оборота все-таки есть основание предполагать, что Пахомий представляет себе благодарных слушателей, внимающих его повествованию. Логофет осознает значимость своего авторства: традиционные оговорки о своем неразумении и “худости” в его сочинениях становятся стилистической фигурой. Он понимает, что многое зависит от того, что и как он скажет. Об этом свидетельствуют и неоднократные редакции жития Сергия: изменились авторские цели (в данном случае от того, для чего нужно это житие), изменялся и текст жития, вносились не только стилистические, но и смысловые правки. Из третьей редакции исключены внесюжетные рассуждения. Повествование становится более конкретным, динамичным, сжатым, а деление жития на преимущественно небольшие по объему главки тоже способствует его лучшему запоминанию.

Во вступлении к “Житию Никона Радонежского”, написанному Пахомием в промежутке между 1440–1459 годами, агиограф упоминает о тех, для кого он сочиняет: “Понеже понужаемъ есмь ваша любве топлениемъ убедихся на дело еже пострети слово о житии пр[e]п[о]д[о]бнаго Никона... зело бо жалостна ми ес вещь сиа. и среды самаго касающихся срдца, понужающи мя поведати, и о ползных подобная известнееише преписати. и со тщаниемъ в сие дело пороизыдохъ у

любве еже къ стому. и елика възмогах постигнути. съ прилежаниемъ съчетовая преложих. и елико против силе удобрих. добродлюбивымъ послушникомъ воспоминание сътворих. светлу похвалу, светлomu в добродетелех приносяще”.

Итак, Пахомий Логофет ориентируется в своих сочинениях прежде всего на слушателей. Агиограф последовательно излагает события, у него нет пространных рассуждений. Наиболее излюбленный прием – диалог, с помощью которого автор избегает излишней многоречивости и делает свой рассказ предельно насыщенным. Особенностью авторского повествования Пахомия становится драматичность: героев житий можно сравнить с действующими лицами пьесы, в их речах заложена большая часть информации, а текст “от автора” сродни ремаркам в пьесе. В большей мере в сочинениях Логофета о событиях говорят сами персонажи, их участники и свидетели, а не автор. Он максимально удален от повествования и появляется, если необходимо сделать переход от одного эпизода к другому или обратить внимание аудитории на какой-то момент, важный, по мнению автора, для понимания жития.

Агиография – это особый род литературы, основное назначение которой – дать образец святой, спасительной жизни, предполагающей подражание. Жития, по справедливому замечанию Б.И. Бермана, свидетельствуют “не только об образе мышления, но и об образе чувствования” того, кому они предназначались.

Епифаний Премудрый, знакомый со святыми, о которых он пишет, рассказывает о них в форме непосредственной беседы, включая в свое сочинение многочисленные отступления и вдаваясь в пространные рассуждения. Эмоциональность автора позволяет понять его оценку изображаемого.

Пахомий, пишущий о легендарных личностях, о которых он узнает, как правило, от “свидетелей” и из работ своих предшественников, излагает события “по чину”. Сюжетная линия в его сочинениях строго выдержана, а повествование более “ровно”. Он сообщает о жизни святого, описывая отдельные наиболее значимые события.

Епифаний Премудрый пытается вызвать у читателей и слушателей те же чувства, которые переполняют его, создать настроение. Он как бы приглашает всех желающих порадоваться и подивиться тому, каких великих подвижников он знал, и вместе прославить их подвиг. Пахомий же о своих мыслях и чувствах именно “говорит”, сообщает о них.

Общий тон житий Логофета остается повествовательным: об эмоциях автора упоминается, но они не обозначены стилистически. “Многоречивость” и словоохотливость Епифания Премудрого передают его ощущения и лирический настрой, а рассудочно-сдержанная манера Пахомия делает его сочинения более “литературными”, “интеллектуальными” и назидательными, но лишенными задушевности и эмоциональной приподнятости.

Как называл себя А.Т. Болотов?

М.В. МАЙОРОВ

Во второй книге о жизни и деяниях энциклопедиста и просветителя XVIII–XIX вв. А.Т. Болотова его биограф А.П. Бердышев (Андрей Тимофеевич Болотов. М., 1994) посвятил целую главу тому, чтобы упрочить в читательском и так называемом общественном сознании правильный вариант произношения фамилии Андрея Тимофеевича.

Исследователь приводит выдержки из переписки, просьбы Болотова к современникам “говорить его” с ударением на втором слоге.

Некоторые отзывались на эти просьбы, появился и такой отклик, который все-таки оказал Андрею Тимофеевичу весомую поддержку и утвердил вариант *Болóтов* через поэзию. Мы имеем в виду эпиграмматическую пародию князя Петра Вяземского на двустиишие М.В. Ломоносова, обращенное некогда к графу Ивану Шувалову, основателю Московского университета:

Не право о вещах те думают, Шувалов,
Которые стекло чтут ниже минералов.

Перекроив эти строки в обращение к Болотову, князь Петр Андреевич вдвойне услужил России. Во-первых, окончательно проставил нужные ударения, во-вторых, прославил одно из сельскохозяйственных новшеств Болотова:

Не право о вещах те думают, Болóтов,
Для коих огурцы дороже бергамóтов.

Выведение новых сортов огурцов, как и яблок, и помидоров, украшало сельские занятия Болотова. Из разных воспоминаний известно, что эпиграмма дошла до адресата.

Таким образом, она явилась первым неавторским аргументом в пользу нужного произношения фамилии *Болóтов*.

Другое возможное подтверждение ударения на втором слоге фамилии *Болотов* выводится из предполагаемого ее происхождения. Историк Е.Н. Перкин, будучи научным сотрудником музея-усадьбы А.Т. Болотова в селе Дворяниновс, обращал внимание на то, что этот достаточ-

но разветвленный род мог иметь в прошлом общие корни с известными дворянами Булатовыми и произойти от общего предка с тюркским именем *Булат*. На русской почве подобные инородческие имена искажались, приближаясь к русской транслитерации, что впоследствии отражалось на написании. Имя *Булат* не стало исключением и со временем превратилось в *Болот*, приобретя, можно сказать, почти русскую “внутреннюю форму”, а до фамилии *Болотов* (с ударением на любом слоге) и вовсе рукой подать.

Правда, и в тюркских языках есть форма *Болот* наряду с уже упоминавшимся именем *Булат*, а также *Булах*, *Балот*.

Вблизи от могилы А.Т. Болотова захоронен его двоюродный племянник коллежский регистратор Андрей Михайлович Болотов. Текст на его надгробии – наиболее мощный аргумент для ударения на втором слоге. Орфографическая ошибка, допущенная в написании фамилии, никого в девятнадцатом столетии, кажется, не смутила, поскольку и без нее Андрею Тимофеевичу удалось-таки убедить родственников и друзей в том, чему посвящена эта статья.

Вот тот самый текст, высеченный на каменном надгробии:

Подъ камнемъ симъ пок
оится прахъ Андрея Миха
иловича Балотова
Родился 1776-го
года октября 20 дня
Скончался 1830
маія 22 дня

Стремление облагораживать фамилии, образованные от неблагозвучных прозвищ, привело к переносу ударения в ряде фамилий: *Мясниковы* стали *Мясникóвыми*, *Стариковы* – *Стáриковыми*, *Цыплёнкóвы* – *Цыпленкóвыми*, *Болóтовы* – *Бóлотовыми* и т.п.

Поэтому во всех энциклопедических справочниках над фамилией Андрея Тимофеевича, его сына-художника Павла, церковного историка Василия Васильевича и других Болотовых проставлен вариант ударения – на первом слоге.

Несмотря на указания и доводы А.П. Бердышева, даже такое солидное издание, как “Российская историческая энциклопедия” выставляет перед доверчивыми читателями искаженный вариант прославленной фамилии.

После прочтения текста на надгробии Андрея Михайловича язык не поворачивается произносить эту фамилию иначе, чем *Болóтов*.

Тула

Топонимика

Топонимический словарь
Центральной России*Г.П. СМОЛИЦКАЯ,
доктор филологических наук

Устье. Село в Воронежской области. Известно с 1629 года: “село Устья, а Песковатая поляна тож” (Прохоров. Вся Воронежская земля). Название дано по тому, что село находится вблизи устья реки Воронеж, впадающей в Дон, есть и хутор *Устье* при впадении реки Ольшанки в Белугу.

устьянцы, устьянец

устьянский, -ая, -ое

Усть-Ижора. Поселок в Ленинградской области, находится при впадении (устье) реки Ижоры в Неву. См. *Ижора*.

устьижорцы, устьижорец

устьижорский, -ая, -ое

Усть-Луга. Поселок в Ленинградской области при впадении реки Луга в Финский залив. Аналогичные названия в Ленинградской области: *Усть-Рудица, Усть-Тосно*.

устьлужичане; устьлужичанин

устьлужский, -ая, -ое

Утишье. Деревня в Ленинградской области. Расположена у большого и тихого плеса на реке Колпь. Плес находится между двумя опасными порогами (Сухой порог и Опоки), трудными для проведения плотов.

утишьевцы, утишьевец, утишьевка

утишьевский, -ая, -ое

Утёс. Русский поселок в Республике Мордовия. Основан в 1931 году в период коллективизации. Название имеет символический характер: коллективный путь развития сельского хозяйства – надежный и прочный как утес (Инжеватов. Топонимический словарь Мордовской АССР).

утёсовцы, утёсовец, утёсовка

утёсовский, -ая, -ое

* Продолжение. Начало см.: Русская речь. 1994. №№ 4–6; 1995. №№ 1–6; 1996. №№ 1–6; 1997. №№ 1–6; 1998. №№ 1–6; 1999. №№ 1–6; 2000. №№ 1–4.

Уткины Дворики. Поселок в Воронежской области. Первым поселенцем был крестьянин Уткин, поставивший свой двор у колодца на дороге Воронеж – Борисоглебск в середине XIX века (Прохоров. Указ. соч.). Названия селений со второй частью *Дворики* известны и в других местах Центральной России. Они встречаются по дороге из Москвы в Рязань: *Калянинские Дворики, Заленинские Дворики*.

уткинцы, уткинец

уткинский, -ая, -ое

Ухолово. Рабочий поселок в Рязанской области. Известен с 1676 года как селение на урочище Ухолово. Возможно, в основе названия диалектное ухало “выпь” или прозвище *Ухало* владельца этого урочища или селения.

ухоловцы, ухоловец, ухоловка

ухоловский, -ая, -ое

Ушаки. Село в Ленинградской области и железнодорожная станция. В основе названия личное мужское имя (прозвище) *Ушак*, зафиксировано в документе 1500 года, относящееся к Новгороду (Веселовский. Ономастикон). От него пошла фамилия *Ушаков*, широко известная и в топонимии: поселок *Ушаково* (Ленинградская обл.), дважды *Ушаковка* в Мордовии и др.

ушаковцы, ушаковец, ушаковка

ушаковский, -ая, -ое

Ушановка. Село в Воронежской области. Основано в середине XIX века братьями Худяковыми, имевшими уличную фамилию *Ушановы*, образованную от прозвища *Ушан* (*Ушаны*).

ушановцы, ушановец, ушановка,

ушановский, -ая, -ое

Фабрика имени Аврова. Поселок в Ленинградской области при картонной фабрике. Авров – один из командиров Красной Армии, принимавший участие в разгроме Юденича в 1919 году. Образование названий жителей и оттопонимического прилагательного затруднительно из-за необычности топонима.

Фабрика “Красная Роза”. Русский поселок в Республике Мордовия при бумажной фабрике в соседнем селе Кондровка, открытой в 1725 году. В 1919 году в связи с убийством немецкой коммунистки Розы Люксембург фабрика и поселок были названы её именем (Инжеватов. Указ. соч.). Образование названий жителей и оттопонимического прилагательного затруднительно.

Фабрицкое. Село в Воронежской области, основанное в XVIII веке крепостным крестьянином князя Репнина Фабрицким. В современном селе некоторые жители всё еще носят фамилию *Фабрицкие*.

фабричане, фабричанин, фабричанка

фабрицкий, -ая, -ое

Фатеж. Город в Курской области, преобразованный в 1790 году в уезд-

ный город из селения *Фате́ж*. Происхождение названия не ясно. Оно дано селению по небольшой речке Фатеж (басс. р. Сейм). Наличие названия оврага *Фатеж* в верховьях Оки (басс. р. Кромь) дает основания видеть в нем неизвестный географический термин и не позволяет вычленить формант *-еж*, известный в гидронимии Центральной России (*Иневеж, Ремеж, Налезж, Трубеж* и др.). Гидронимия на *-жа* тоже представлена в соседнем регионе довольно широко: *Пажа, Сережа, Панжа* и др. (басс. Оки).

фатежа́не, фатежа́нин, фатежанка и фате́жцы, фате́жец
фатежский, *-ая, -ое*

Фирсановка. Поселок городского типа в Московской области. Название дано по фамилии её владельца купца И.Г. Фирсанова, приобретшего селение (помещичью усадьбу) в 1893 году. Одноименное название *Фирсановка* (позже *Фирсановская*) получила ближайшая железнодорожная платформа и дачный поселок, выросший при ней.

фирса́новцы, фирса́новец
фирса́новский, *-ая, -ое*

Фёдоровка. Название шести населенных пунктов в Республике Мордовия (русский поселок, две деревни, два мокшанских поселка, эрзянская деревня). По сведениям И.К. Инжватова, все эти топонимы антропонимического происхождения – по фамилии основателя. Аналогичные названия известны в Воронежской области: поселок, село и деревня *Фёдоровка*.

фе́доровцы, фе́доровец
фе́доровский, *-ая, -ое*

Федоскино. Село в Московской области. В основе названия личное мужское имя *Феодосий*, точнее его разговорно-просторечная форма *Федоска*, ставшая именем селения, а затем и фамилией для потомков Федоски. Федоскино слилось с соседним селом Данилково, название которого связано с именем *Данилка, Данилок*.

Известный центр народного художественного промысла – производства изделий лаковой миниатюры (шкатулок, брошей, панно и т.п.), развившегося здесь с XVIII века по инициативе купца П.И. Коробкова.

фе́до́скинцы, фе́до́скинец
фе́до́скинский, *-ая, -ое*

Фокино. Город в Брянской области. Первоначально это поселок цементный при цементном заводе. В 1964 году получил статус города и переименован в Фокино по фамилии партийного деятеля И.И. Фокина (1889–1919).

фо́кинцы, фо́кинец
фо́кинский, *-ая, -ое*

Фоминичи. Поселок в Воронежской области. Название патронимического характера: *фоминичи* – люди, принадлежавшие Фомину, зависевшие от него. Село основано в 1810 году крестьянами из села Фоминичи Калужской губернии.

фоминичевцы, фоминичевец

фоминичевский, -ая, -ое

Фрязино. Город в Московской области. Известен с 1573 года как деревня *Фрязинова*, затем в 1784 году – деревня *Фрязина*, село *Фрязино*, с 1951 – город *Фрязино*. В основе названия апеллятив *фряг* или *фрязин*. Так в Русском государстве называли итальянцев из Генуи и Венеции, которые приезжали в Москву в XIV–XV веках. Это были преимущественно ремесленники: ювелиры, денежные мастера, строители каменных зданий и крепостных стен. Некоторые из них оставались навсегда в Русском государстве и получали земельные наделы в Подмоскovie, создавали усадьбы, которые часто получали названия по происхождению этих людей – *Фрязино*, *Фрязево*, *Фряново* и т.д. В конце XV века довольно известной была фамилия *Фрязинов* в Москве, Вологде (Веселовский. Указ. соч.).

фрязинцы, фрязинец

фрязинский, -ая, -ое

Фурманов. Город в Ивановской области, образованный в 1918 году из нескольких населенных пунктов и торгового села *Середа-Упино* (от дня недели – *среда* – в который здесь проходили базары). В 1941 году был переименован в *Фурманов* в связи с пятидесятилетием со дня рождения писателя Д.А. Фурманова (1891–1926), уроженца этого города.

фурмановцы, фурмановец, фурмановка

фурмановский, -ая, -ое

Хаджи. Татарский поселок в Республике Мордовия. Основан в 20-х годах XX века. В основе названия апеллятив *хаджи* “человек, совершивший паломничество в Мекку и Медину”. Таким человеком был основатель поселка *Халиков* (Инжеватов. Указ. соч.).

Харино. Поселок в Республике Мордовия. Основан в 1931 году как Харинское лесничество. Название свое получил по месту расположения – на территории усадьбы лесника Харина (Инжеватов. Указ. соч.).

харинцы, харинец, харинка

харинский, -ая, -ое

Харчевня. Название нескольких деревень в Ленинградской области. В основе названия апеллятив *харчевня*, по определению В.И. Даля – “простое заведение, где едят за деньги”. По сведениям С.В. Кисловского, эти деревни находятся на бывших трактах – почтовом Ярославском, на тракте из Петербурга в Архангельск (Кисловский. Знаете ли вы? Словарь географических названий Ленинградской области).

харчевенцы, харчевенец

харчевенский, -ая, -ое

Хвощеватка. Село в Воронежской области. Известно с XVII века. Название дано по растению хвощ, в изобилии произраставшему здесь

на низкой, болотистой почве. Названия, данные селениям по растению хвощ или по балке (оврагу), где произрастал хвощ, довольно часты в Воронежской области: села *Хвоцеватовка*, *Хвоцеватое*, хутор *Хвоцеватый* – дважды (Прохоров. Указ. соч.).

хвоцеватовцы, хвоцеватовец

хвоцеватовский, -ая, -ое

Хлебино. Село в Республике Мордовия, известное с 1866 года. В основе названия слово *хлеб*. Первые жители селения положили много сил для раскорчевки леса под пашню, получили урожай зерна, хлеба, и это слово стало названием их села. Производные от *хлеб* довольно часто становятся названиями селений: *Хлебное*, *Хлебородное* (Воронежская обл.) и др.

хлебинцы, хлебинец

хлебинский, -ая, -ое

Химки (1939). Город в Московской области. Название получил по реке Химка, на которой было основано предшествующее ему поселение. Окончательно происхождение и значение названия реки не выяснено. До XIX века оно было известно в форме *Хинка*, и только с XIX века закрепился вариант *Химка*. Форму *Хинка* есть все основания связать с апеллятивом *хинь* “чепуха, пустяки, вздор” (Даль. Т. IV), русским диалектным (рязан.) *хинью* “бесполезно, впустую”. Это значит, что *Хинка* – незначительная, пустяковая, бесполезная (маленькая) речка. Со временем слово *хинь* стало малоупотребительным, а позднее вышло из обихода и стало восприниматься как непонятное. Смысловая связь его с названием *Хинка* утратилась, значение изменилось, возможно, под влиянием входившего в употребление слова *химия*. Не исключено балтийское происхождение гидронима (Ср. литов. *kiminas* “мох”), а также и от мужского имени *Химка* – просторечной формы от *Фимка* из *Евфимий*.

химкинцы, химкинец, химкинка

химкинский, -ая, -ое

Хованщина. Мокшанско-русское село в Республике Мордовия. Основано в 20-х годах XX века, названо по соседней железнодорожной станции. В данной местности было несколько селений, связанных с фамилией *Хованских*, которые владели здесь землями с начала XVIII века.

хованщинцы, хованщинец

хованщинский, -ая, -ое и хованский, -ая, -ое

Холм (1144). Город в Новгородской области. В основе названия общеславянское слово *холм* “невысокая гора, горка, возвышенность”. Топоним *Холм* и его производные широко известны на равнинной территории расселения славян. И, по свидетельству Э.М. Мурзаева, на огромной территории Евразии (Мурзаев. Словарь народных географических терминов): села *Холм* (неоднократно в Смоленской обл.), *Холмы* (во многих обл.), *Красный Холм*, станица *Холмская* (Краснодарский

край) и многие др. В некоторых группах индоевропейских языков (германских), финно-угорских оно может иметь значение “остров” и тоже довольно активно в топонимии: *Хельм*, *Кольм* и др.

холмич, холмичка, *устар.* холмитянин, холмитянка

холмский, -ая, -ое и *устар.* холмской, -ая, -ое

Холуй (1946). Рабочий поселок в Ивановской области. Название представляет собой чистый апеллятив *хóлуй* “речной нанос; запруда из речного мусора”, известный в северных русских диалектах. Этот термин весьма активен в топонимии центральной России: реки *Холуянка*, *Холуница* и др.

В настоящее время Холуй – один из центров художественного народного промысла – лаковой миниатюры (панно, шкатулки, броши и т.п.), развившегося после революции 1917 года на базе иконописного промысла, известного здесь с XVI века. В поселке есть фабрика художественной лаковой миниатюры.

холуяне и хóлуйцы, холуянин, холуянка

хóлуйский, -ая, -ое

Хомутовка. Село в Воронежской области. Известно с 1787 года. Название перенесено переселенцами из села Хомутовка Пензенской губернии. Оно довольно часто встречается на территории Центральной России и в форме *Хомутец*, *Хомутина*, особенно часто как название водных объектов – *Хомут*, *Хомутовец*, *Хомутово*, *Хомутовской* и др. (бассейн Оки). В основе этих топонимов географический (гидрографический) термин *хомут* “излучина реки, старица, озеро подковообразной формы, напоминающей хомут”. Этот термин известен в других регионах России, а также на территории славянских стран.

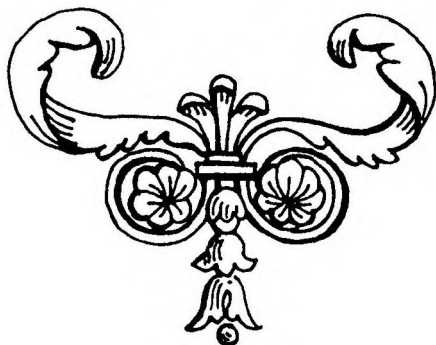
хомуто́вцы, хомуто́вец

хомуто́вский, -ая, -ое

Хопёр. Река, левый приток Дона на территории Пензенской, Воронежской, Волгоградской и Саратовской областей. Существует несколько предположений о происхождении этого гидронима. М. Фасмер соотносил его с русским диалектным *хопити* “хватать, тащить; влечь” (Фасмер. Этимологический словарь русского языка. Т. IV). В. Даль видел в нем тоже диалектное слово *хопёр* “притон диких гусей” (Даль. Т. IV). Убедительным представляется анализ, исходящий из ранней формы гидронима *Похорь*, на которую обратил внимание В.А. Прохоров. Эту идею развил Е.С. Отин (Хопёр. Русская речь. 1973. № 1) и предположил возможную перестановку *Похорь* > *Хопор* > *Хопёр*. Это дает возможность видеть в основе названия славянский корень *пъх* “толкать”.

хопё́рский, -ая, -ое

Продолжение следует



Пушкинский образ в контексте народной культуры

*Д.Н. МЕДРИШ,
доктор филологических наук*

*Ты тулуп ли мой, тулупчик, шуба новая!
Я носил тебя, тулупчик, ровно тридцат лет...*

Из собрания народных песен П.В. Киреевского

Заячий тулуп в “Капитанской дочке” фигурирует неоднократно, при этом его названия и характеристики варьируются, и каждое его упоминание связано с движением сюжета. На это обратили внимание исследователи (см., например: Бабаев Э.Г. Творчество А.С. Пушкина. М., 1988. С. 92, 93, 106). Однако без внимания остаётся, как правило, фольклорно-песенный подтекст, благодаря которому “приключения” тулупа обретают дополнительный смысл.

Впервые о тулупе говорится при отправлении Петра Гринёва в путь: “Надели на меня заячий тулуп, а сверху лисью шубу”. Затем, уже в степи, на вопрос Гринёва встреченный им вожатый отвечает: “Как не прозябнуть в одном худеньком армяке! Был тулуп, да что греха таить? заложил вечер у целовальника: мороз показался не велик”. Далее следует эпизод дарения, причём если в речи Гринёва – в начале и в конце эпизода – нейтральное наименование – “заячий тулуп”, то в речи вожатого – облагораживающий парафраз (“Его благородие мне жалует шубу со своего плеча...”), а в словах Савельича – варьирование в зависимости от цели высказывания: вначале, чтобы убедить вожатого, что одежда для него будет мала, – “барский тулупчик”, затем, чтобы подчеркнуть ценность подарка, – “заячий тулуп почти новёшенький”.

После повторной встречи с Пугачёвым, теперь уже самозванцем, о тулупе Гринёву напоминает Савельич: “Ты и позабыл того пьяницу, который выманил у тебя тулуп на постоялом дворе?”. Здесь просто “тулуп”, но тут же следом: “Заячий тулупчик совсем новёшенький...”. “Почти новёшенький” тулуп (так было в первом эпизоде) стал теперь “совсем новёшеньким” тулупчиком. Новое наименование одежды и в последующем размышлении Гринёва: “Детский тулуп”. Эпитет точный и многозначный одновременно. В этом контексте *детский* означает – “маленький, недорогой” (да и что может сравниться с ценою дарованной в ответ жизни!), а также и “не новый”, и в то же время характеризует быстрое возмужание Гринёва, которому он сам, недавний, представляется уже ребёнком.

В следующей сцене Пугачёв, объясняя Гринёву, почему тот не был повешен заодно с комендантом крепости, вновь вспоминает тулуп, прямо его не называя: “...но я помиловал тебя за твою добродетель...”. Опять многозначно: с одной стороны, Пугачёв понимает, что для государя, пусть и самозванного, заячий тулуп – мелочь, о которой и говорить не стоит, и, с другой стороны, в словах Пугачёва заключена нравственная, человеческая оценка случившегося в бурной степи.

Следующий эпизод: Савельич предъявляет Пугачёву счёт за разграбленное барское имущество, который завершается новым упоминанием тулупа: “Ещё заячий тулупчик, пожалованный твоей милости на постоялом дворе, 15 рублей”. Если лисья шуба (видимо, та самая, которую надели на Петрушу в дорогу поверх заячьего тулупа) оценена Савельичем в 40 рублей, то всего 15 рублей стоит тулупчик. К тому же Савельич, видимо, всё это время сокрушался о барском добре, отданном вожатому, и оттого тулуп назван ласково: “тулупчик”. Предъявленный реестр сначала приводит Пугачёва в гнев: “Заячий тулуп! Я те дам заячий тулуп! Да знаешь ли ты, что я с тебя живого кожу велю сорвать на тулупы?”.

После расправы над защитниками Белогорской крепости угроза выглядит не столь уж нереальной. Но Пугачёв отходчив. Его великодушнее начинается с того, что он оставляет без внимания дерзкий поступок Савельича, а затем проявляется в посланном вдогонку подарке Гринёву – лошади и шубе “с своего плеча” (“к седлу привязан был овчинный тулуп”). Заметим, что и на этот раз подарок был весьма кстати (“Я надел тулуп и сел верхом, посадив за собою Савельича”), о чём Гринёв сообщает Пугачёву при их следующей встрече: “Ах! я было и забыл благодарить тебя за лошадь и за тулуп. Без тебя я не добрался бы до города и замёрз бы на дороге”. Пугачёв же снова вспоминает заячий тулуп и опять намёком: “Долг платежом красен, – сказал он, мигая и прищуриваясь”. Однако вскоре Савельич, обращаясь к Пугачёву, вновь некстати заводит речь о заячьем тулупе: “Век за тебя буду Бога молить, а о заячьем тулупе и упоминать уж не стану”. За этим следует

реплика: “Этот заячий тулуп мог наконец не на шутку рассердить Пугачёва”. Но позднее именно Пугачёв, в разговоре с Гринёвым, последним в романе вспоминает “стакан вина и заячий тулуп”. Это свидетельствует о доверительности разговора и об установившемся полном взаимопонимании между собеседниками.

Примечательны те исправления, которые в процессе работы были сделаны Пушкиным в рукописи. В предложении (в начале романа) “Я опустил цыновку, закутался в шубу и задремал, убаюканный пением бури и качкою тихой езды” – слова “закутался в шубу” вставлены (Пушкин А.С. Полн. собр. соч.: В 16 т. М.-Л., 1940. Т. VIII. С. 862). В счёте, предъявленном Пугачёву Савельичем, заячий тулупчик первоначально был оценен в 100 рублей (Там же. С. 884). Обе поправки явно направлены на то, чтобы подчеркнуть не денежную весомость подарка, а его человеческую ценность. “Закутался в шубу” – напоминает о морозе, который испытывает на себе Гринёв, и дополнительно мотивирует характер гринёвского подарка Пугачёву, а существенно более низкая, по сравнению с черновой рукописью, оценка тулупчика Савельичем говорит о том, что подарок дорог Пугачёву не ценою (свидетельствуя одновременно и о порядочности Савельича, не требующего лишнего).

Припомним текст интересующих нас эпизодов, обратимся к подтексту. При этом нам предстоит выяснить два обстоятельства. Во-первых, с какими внетекстовыми ассоциациями связано столь важное в сюжете “Капитанской дочки” двойное дарение тулупов? Во-вторых, почему тулуп – *заячий* (а ответный дар – *овчинный*)?

Тулуп – разновидность шубы. С народными преданиями и песнями о двустороннем дарении шубы Пушкин был знаком – речь идёт о Степане Разине. Сопоставление жизни Разина и Пугачёва, какой она предстаёт в исторических документах и, что особенно важно, в народных преданиях и песнях, у Пушкина находим неоднократно. Существовало два фольклорных сюжета, связанных с дарением шубы Разиным и астраханским губернатором (воеводой). Один из них был развит Пушкиным в его “Песнях о Стеньке Разине”.

Известно, что М.П. Погодин ознакомил поэта с летописным упоминанием эпизода, приуроченного к 1669 году: “Разин в то же время имел при себе богатую шубу дорогих соболей, также покрытую дорогою персидскою парчою, которая воеводе зело понравилась”, и тот стал её просить. Разин сперва отказал, тогда посыпались угрозы, “и тако той Разин хотя и нехотя, но якобы принужден ту шубу ему отдать; с великим ярым сердцем и злою мыслью скинув с себя тою и отдав ему, рек еще: возьми, брат, шубу, только не было в ней шуму” (Москвитянин. 1841. Ч. VI. № 7. С. 167; цит. по: Фомичёв С.А. “Песни о Стеньке Разине” Пушкина: История создания, композиция и проблематика цикла // Пушкин: Исследования и материалы. Т. 13. Л., 1989. С. 18). У Пушкина

во второй из трёх “Песен о Стеньке Разине”:

“Добро, воевода,
Возьми себе шубу,
Возьми себе шубу,
Да не было б шуму”.

В народной песне, обычно публикуемой как “Песня разинцев”, в отличие от предания, “цветно платье” губернатор предлагает пленившим его разинцам, но в ответ слышит: “Нам не дорого цветно платье губернаторское (...) Дорога нам буйная твоя головушка” (Русская историческая песня. Л., 1987. С. 174; песня публиковалась в “Собрании разных песен” М.Д. Чулкова, известном Пушкину). За этими словами следует расправа над губернатором.

Итак, в фольклоре шубу (или “красно платье”) дарят Разин воеводе, затем воевода – разинцам, причём оба “подарка” – вынужденные, под угрозой насилия и даже смерти. Уже в пушкинском стихотворении о Разине, по сравнению с летописным преданием, разинский подарок – скорее проявление миролюбия, нежели подчинение силе. В “Капитанской дочке” Пушкин идёт дальше: для него важно не только (а подчас и не столько) то, что разделяет мужицкого бунтаря Пугачёва и офицера-дворянина Гринёва, но и то, что их по-человечески сближает. В пушкинском романе оба дарения – Пугачёву и Пугачёвым – добровольные, от души.

И другое отличие пушкинской версии от фольклорной. В песнях, преданиях, былинах дарят дорогие соболиные шубы (или драгоценное “цветно платье”), в “Капитанской дочке” – простые тулупы, сначала заячий, а потом овчинный. В обоих случаях у Пушкина акценты переносятся со знаковой, денежной стоимости на реальную, человеческую ценность подарка. В этой связи несомненный интерес представляет свидетельство бытописателя: “У бедных были шубы овчинные, или тулупы, и заячьи, у людей средственного состояния беличьи и куницы, у богатых собольи и лисьи разных видов...” (Костомаров Н.И. Очерк домашней жизни и нравов великорусского народа в XVI и XVII столетиях // Костомаров Н.И., Забелин И.Е. О жизни, быте и нравах русского народа. М., 1996. С. 51). Ср. у Даля: “Попу – куницу, дьякону – лисицу, пономарю-горюну – серого зайку, а просвирие-хлопуше – заячьи уши!” (Даль В.И. Толковый словарь. М., 1955. Т. I. С. 670; далее – только том и стр.). Различия не только запечатлелись в памяти народа, но и отразились в народной речи и народной поэзии, в её ценностной шкале. Тулуп – заячий или овчинный – непрестижен, но практичен, так что подарок – с обеих сторон – весьма уместный и своевременный. “Тулуп, – свидетельствует Даль, – полная шуба, без перехвата, а халатом, обнимающая всё тело, весь стан; простой тулуп бывает овчинный, бара-

ний...” (IV, 442). “Полная шуба” – тулуп – в мороз незаменима, не то, что полушубок, о котором в народной песне сказано:

Перезяб-то, я, передрог, добрый молодец,
В коротенькой одеже, в полушубочке...

(Собрание народных песен П.В. Киреевского. Записи Языковых в Симбирской и Оренбургской губерниях. Л., 1977. Т. 1. С. 122).

Отсюда – то ласковое, тёплое (невольный каламбур) отношение к тулупу, которое выражено в народной песне:

Ты *тулуп* ли мой, тулупчик, шуба новая!
Я носил тебя, тулупчик, ровно тридцат лет:
Обломил ты мне, тулупчик, могучи плечи.

А.А. Потебня приводит эти строки из собрания П.В. Киреевского как пример метафоры (к тулупу обращаются как к живому существу), которая изображает нечто “важное и милое” (Потебня А.А. Теоретическая поэтика. М., 1990. С. 234). Для нас этот пример интересен ещё и в ином плане: в нём традиционная образная формула опирается на те же признаки, которые – не без иронии – представлены и у Пушкина (“заячий тулупчик совсем новёшенький”). В русской народной песне эпитет “*новый*” имеет, как правило, не конкретное, а идеальное значение – “очень хороший”; отсюда и сени в песне всегда *новые*, и тулуп – “шуба новая”, хотя носил его хозяин ровно тридцать лет.

Конечно, и в “Капитанской дочке”, и в народных песнях и пословицах о тулупе отразилась суровая русская природа с её снежной зимой и холодами. Но этим внешним подобием смысл переключки писателя с фольклором не исчерпывается: и у Пушкина, и в народной поэзии всякий раз из привычных житейских ситуаций извлекается глубинный нравственный смысл: “Шуба овечья, да душа человекья” (IV, 647). Ещё и по этой причине так уместна в “Капитанской дочке” предваряющая роман в качестве эпиграфа пословица, с которой старик Гринёв отправлял в дорогу сына: “Береги платье снову, а честь смолоду”.

Волгоград

НА ЧЕМ ЧЕЛОВЕК ПЕРЕМЕЩАЕТСЯ В ВОЗДУХЕ*

Аэро динамы

А.Н. ШУСТОВ

Пассивное плавание в воздухе по прихоти ветров, подобно тополиному пуху, не удовлетворяло человека, мечтавшего о свободном полете. И в конце концов им был создан летательный аппарат тяжелее воздуха, снабженный крыльями, мотором и пропеллером. В отличие от аэростатов такие машины еще до того, как они поднялись в воздух, были названы *аэродинамами* (греч. *aerodinēs* “кружащий в воздухе”). Д.И. Менделеев писал по этому поводу (в 1878 г.): “Воздухоплавание бывает и будет двух родов: одно в аэростатах, другое – в аэродинамах, потому что птица тяжелее воздуха и есть аэродинам” (Дузь П.Д. История воздухоплавания и авиации в России [период до 1914 г.]. М., 1979). В то же время Дмитрий Иванович (в 1880 г.) высказал сомнение: “... всё же аэростаты и аэродинамы не будут служить для обыденной нужды человека” (Соч. Л.–М., 1946. Т. 7). Впрочем, он был не одинок в этом; журнал “Воздухоплаватель” писал тогда же: “Аэродинамическое летание считается многими лицами несбыточной мечтой” (1882. № 18).

Новая наука, занимающаяся свободными полетами, в отличие от *аэростатики* (или *аэронавтики*) стала называться *авиатикой*, *авиацией* (в основе латин. *avis* “птица”, ср. франц. название самолета *avion*), т.е. *птицелетанием*: “Авиация вовсе не воздухоплавание, ибо, что летает, то не плывет, а что плывет, то не летит” (Воздухоплаватель. 1883. 1 янв. Подробнее об *авиации* см.: Русская речь. 1985. № 3). Короткое время синонимом *авиации* служило существительное *аэродинам* (Воздухоплаватель. 1882. № 18).

Русская Техническая Энциклопедия (СПб., 1912. Т. 6) поясняла, что летательные машины предназначены для свободного перемещения в воздухе при посредстве механических двигателей. Поэтому в отличие от аэростатов их называют иногда *аэродинамическими воздушными кораблями*. Даже газеты писали тогда, что увлечение воздухолетанием

* Окончание. Начало см.: Русская речь. 2000. № 3.

заставило всех забыть о воздухоплавании, хотя такое деление авиации и кажется многим смешным (С.-Петербургские ведомости. 1913. 17 (30) дек.).

Поскольку возможность свободного полета аппарата, как выяснилось, зависела не столько от наличия двигателя (он был и на дирижабле), сколько от типа (конструкции) крыльев, то такая крылатая машина, еще до того как ей удалось взлететь, получила название *аэроплан*. Первая основа *аэро-* (воздух) была заимствована у предшествующих аппаратов, а вторая *-план* восходила к латинскому *planum* “ровный, плоский”; иначе говоря: “плоскость, крыло”. Таким образом, аэроплан – это просто воздушное крыло. Слово родилось во Франции (в 1863 г.), долгое время бывшей законодательницей мод в авиатике. Из французского оно вошло во многие языки, включая русский.

Конструирование летательных машин активно продолжалось: “Некто г. Чернушенко изобрел новый тип аэроплана, к постройке которого, по словам газет, он уже приступил” (1892; цит. по: Вокруг света. 1981. № 10). Журнал “Циклист” представил своим читателям “устроенный (...) из дерева аэроплан с сплошными парусиновыми крыльями по бокам и таким же винтом на конце” (1898. № 34). Так что *аэроплан*, как видим, вошел в русский язык не “в начале XX в.” (Этимологический словарь русского языка. Изд-во МГУ, 1963. Т. I. Вып. 1), а гораздо раньше. Некоторое время (с конца XIX в. и примерно до 1915–17 гг.) существительное *аэроплан* служило также для названия специального воздушного змея, запускаемого для метеонаблюдений; ныне для этих целей используются шары-зонды и ракеты.

В 1894 году Циолковский опубликовал статью “Аэроплан, или птицеподобная (авиационная) машина”, в которой писал: “Что касается аэропланов, то до сих пор не удалось с их помощью подняться на воздух; зато, если удастся, то управление аэропланами будет очень легко” (Наука и жизнь. 1894. № 43–44).

Первый аэроплан с человеком поднялся во Франции в 1897 году (изобретатель Адер назвал его *авион*). Однако военная комиссия не признала это изобретение серьезным и полезным. Сенсационным стал полет в 1903 году американцев братьев Райт. Тогда-то и французы вспомнили об Адере, и на выставке 1908 года его авион занял почетное место. Полет братьев Райт явился началом покорения воздушного океана человеком.

Крылья аэропланов получили устойчивое название *планы*. Это слово долгое время являлось техническим термином. Н.Е. Жуковский в 1904 году писал, что он “нашел источник поддерживающей планы силы”; С.А. Чапыгин в 1910 году опубликовал работу “Теория решетчатого плана”.

Перед Второй мировой войной был сконструирован *униплан* – летающее крыло, у которого не было фюзеляжа, а кабина и легкий мотор

скрывались в толще крыла (Техника – молодежи. 1937. № 4). А в наше время появился и получил большую популярность *пароплан* (лат. *par* “равный”) – бескаркасное, мягкое крыло, “летающий матрац”.

Конструкторы первых аэропланов с жесткими неподвижными крыльями считали, что летные качества их машин зависят от количества плоскостей, что нашло отражение и в языке. В первые десятилетия XX века были известны (летали!): *моноплан* (вар. *одноплан*), *полумотороплан*, *биплан* (вар. *двуплан*), *триплан*, *пятиплан*, *полиплан* (вар. *мультиплан*). Эти “многоярусные” аппараты были похожи на подзабытый сегодня предмет мебели, поэтому разговорное название их – *этажерка* сохранилось чуть ли не до наших дней: этим прозвищем народ окрестил и знаменитый *биплан У-2*.

На заре авиации межпланетный аэроплан в виде ракеты предлагался фантастами в качестве “воздушного вагона” для полетов, в частности, между Марсом и его спутниками (В неведомых мирах. Вокруг Солнца. СПб., 1895). Гораздо позже большие пассажирские аэропланы некоторое время именовались *аэровагонами*. Это были прообразы нынешних *аэробусов*.

Словообразовательная модель со второй основой *-план* оказалась весьма продуктивной. Ныне в языке существует большая группа таких сложных слов, рожденных в течение всего XX века, и семейство их пополняется: *автоплан* (1910), *геликоплан* (1910), *гелиоракетоплан*, *гелиплан* (гибрид *гели*-коптера и *аэро-плана*), *гравиплан*, *дельтаплан* (правильнее: *дельтапланёр* → *дельтапланеризм*), *дископлан*, *ж[г]ироплан* (*вертолет соосной системы*), *звездоплан*, *конвертоплан*, *космоплан*, *мотодельтаплан*, *пароплан* (1937, прототип *дельтаплана*), *пропеллоплан* (самолет с поворачивающимися крыльями), *ракетоплан*, *стратоплан*, *сфероплан* (1910), *термоплан*, *торпедоплан*, *турбоплан*, *центрорплан*, *циклоплан* (“летающий велосипед”) и мн. др.

Учитывая “планирующую” способность аппарата, его возможность парить над поверхностью, *-планы* называют теперь не только летающие машины, но и другие, способные зависать над поверхностью на воздушной подушке: самолет *гидроплан*, корабль *экраноплан*, поезд *магнитоплан* и т.п.

“Базовый” термин – *аэроплан* – до сих пор сохраняется в языке. В 1920-е годы, когда была мода на сокращения слов, от этого существительного было образовано словечко *аэро* по аналогии с *авто* и *трамом*. Хотя оно часто встречается, например, в стихах Маяковского, однако за пределы своего времени так и не вышло.

Производным от слова *план* является *планёр*. Французское *planer* → *planeur* значит: “то, что держится, парит” (*планёр* – паритель). Так называется крылатый летательный аппарат без мотора, использующий для полета восходящие потоки воздуха. В свое время Н.Е. Жуковский называл планёры “скользящими летательными машинами”, а полеты

на них – “парусными”. И журнал “Русский спорт” писал, что на планёре “человек только скользит по воздуху” (1912. № 7; это одна из ранних фиксаций слова в русском языке). Однако, как еще в 1874 году писал Н.А. Арендт, парение – это, строго говоря, не летание, поскольку “парящие птицы не пропеллируют сами себя”.

Долгое время термин *планёр* был “в одиночестве”. Но с 1930-х годов семейство этих машин увеличилось; к ним стали приспосабливать двигатели (в т.ч. реактивные). Это дало соответствующее лексическое пополнение: *стратопланёр*, *мотопланёр* и *ракетопланёр* (оба предложены С.П. Королевым), *гравитопланёр*, *солнцепланёр* (*мотопланёр* с солнечным двигателем), *дельтапланёр*...

Уже рассмотренные *-планы* и *-планёры* – это машины с неподвижными крыльями. Однако в истории авиации были аппараты и с подвижными (в т.ч. машущими) крыльями. Писатели-фантасты, обращавшие свои взоры к небу, на первых порах не отличались словотворческой оригинальностью и называли свои межпланетные корабли просто *аэропланами* (которые в конце XIX века сами по себе выглядели фантастикой!). Одна из таких летучих машин представляла собой большую лодку с тремя парами крыльев по бортам, взмахивая которыми, она и поднималась в воздух – этакая “летающая трирема” (В неведомых мирах. Вокруг Солнца. СПб., 1895).

Позже такие (и аналогичные) аппараты получили название *орнитоптеры* (греч. *ornis* “птица” + *pteron* “крыло”), т.е. *птицекрылы*. Однако это направление технической мысли оказалось тупиковым; победили пропеллерные (винтовые) конструкции. Когда же для обеспечения вертикального взлета пропеллер в виде вращающихся крыльев был перенесен на “спину” аппарата, такая машина получила название *геликоптер* (греч. *helikos* “винт” + *pteron* “крыло”), т.е. *винтокрыл*. Действительно, привычные крылья-плоскости у таких машин (почти) отсутствуют. Ранние аппараты этого типа напоминали... люстру. Первый “геликоптер” с паровой машиной был изобретен еще в 1845 году в Варшаве Филипсом. По-русски встречается ранняя форма *эликоптер* (1863), что подчеркивает его заимствование из французского.

На заре авиации (в 1909 г.) русский капитан Аршаулов создал свой аппарат – *ортоптер* (греч. *orthos* “прямой”), т.е. *прямокрыл*. В наше время по этой же модели было предложено название для судна-вездехода на воздушной подушке, способного передвигаться по льду, снегу и воде – *гидрокоптер* (Техника – молодежи. 1983. № 2).

В самый ранний период развития авиации, когда летательные аппараты создавались в разных странах практически одновременно, конструкторы все же пытались как-то унифицировать их названия. Для этого применялся традиционный для науки и техники путь – использование для создания новых слов интернациональных (греческих и латинских) основ. Приведенные уже примеры являются наглядной иллюст-

рацией сказанного. Однако одновременно с этим в русском языке рождались и отечественные неологизмы.

Так, для названия управляемого крылатого летательного аппарата наряду с *аэропланом* стало широко применяться слово *самолет*, ставшее ныне доминирующим. История этого слова сама по себе достаточно интересна. Существительное *самолет* было известно в русском языке давно. Так назывался самоходный речной паром, ручной ткацкий станок, пахотное орудие... Это были узкопрофессиональные термины. Вместе с тем слово встречается и в народных сказках для названия летающих предметов (ковров, сундуков и пр.).

Как “потенциальный термин” для образно-собирательного названия летательных аппаратов *самолет* был предугадан еще в 1863 году, о чем писала газета “Голос”: “Воздушные шары {...} стали {...} тормозом [воздухоплавания], задержав на много лет изобретение самолета, который без них, может быть, в настоящее время уже был бы найден”.

В 1876 году А.Ф. Можайский демонстрировал действующую модель нового аппарата, который он назвал *летунья*. В июне 1880 года изобретатель обратился с “прошением о выдаче ему пятилетней привилегии на воздухолетательный [уже не воздухоплавательный! – А.Ш.] снаряд: (привилегия [патент] выдана 15 ноября 1881 г.; ее фото см. Изобретатель и рационализатор. 1982. № 1. С. 32). Натурный воздушный аппарат, поднявшийся в воздух лишь в 1882 году, газета “Кронштадтский вестник” много раньше (в 1877 г.) назвала *летучкой* (еще не самолетом!); “Мирная сторона наклонностей этой летучки прямо уже обещает много доброго: наука сразу шагнет вперед, особенно в приобретении данных для разработки многих важных космических вопросов и явлений” (цит.: Гумилевский Л. Крылья родины. М., 1954).

Слово *самолет* для названия летательного аппарата было предложено в 1895 году В.В. Котовым. Его книга о планерах называлась “Самолеты-аэропланы, парящие в воздухе”. Здесь важно отметить следующее: 1) название предложено для планирующих аппаратов; 2) изобретатель демонстрировал действующие модели; 3) слово *самолет* (в его новом значении) сразу же приравнивалось к аэроплану... Этот термин был легко принят Д.И. Менделеевым, видевшим “самолеты” Котова и написавшим предисловие к его книге.

Буквально в том же году слово *самолет* как синоним *аэроплана* стало использоваться фантастами: “Офицеры воздушной эскадры, дав полный ход винтовым своим самолетам, быстро вернулись на свои места” (Робида А. Двадцатое столетие. Электрическая жизнь. СПб., 1894). Но все это было пока еще скорее “теорией”.

Когда же авиация из младенческого возраста перешла в детский (1907–1914 гг.), русские писатели подхватили отечественное название аэроплана с использованием корня *лёт* – *летун*. Этим словом еще в 1882 году проф. С.И. Барановский назвал изобретенный им геликоптер.

Летун для названия летательных машин встречается у поэтов Г. Чулкова (“Вокруг тайга шумела дико...”), А. Блока (“Авиатор”), И. Северянина (“На летуне”), З. Гиппиус (“Zepp’lin III” – о дирижабле). Параллельно с названием аппарата были попытки распространить этот термин и на авиатора: “Восторженно-возвышенное удалое слово *летун* существовало по отношению к воздухоплавателям еще в [18]40-х годах в Сибири (...) Летун Барановского, летунья Можайского – вот те имена, которые давались летательным машинам их изобретателями, людьми, как известно, всегда возвышенного настроения. Жаль, что вместо слова *летун* в войсках применяется чисто служебное слово *летчик*, скрашивающее удаль полетов и воздушное настроение” (Летун. 1913. № 1).

Как абсолютный синоним слова *аэроплан* существительное *самолет* стало широко употребляться в языке уже в 1908–9 годах: “В настоящее время самолет г. Сверчкова находится на гатчинском ипподроме в ожидании пробы” (Библиотека воздухоплавания. 1909. № 1). Распространению его в начале 1910-х годов способствовал патриотический подъем в начале 1-й мировой войны. Термин оказался очень удачным для обобщенно-собирательного обозначения практически любых летательных аппаратов; *летун* не выдержал конкуренции и некоторое время использовался для названия пилотов (О слове *самолет* см.: Этерлей Е.Н., Кузнецова О.Д. Неизвестное в известном. Л., 1979).

По модели слова *самолет* (со второй основой *-лёт*) образовано немало других названий. И как это нередко бывает в технике, иные названия, возникнув, уходят “на глубину”, а затем всплывают уже в другое историческое время как новые. Рассмотрим один-два примера.

Сравнительно недавно в нашей прессе сообщалось о создании *паролета*, т.е. самолета с паровым двигателем (Строительный рабочий. 1973. № 10). В другой статье рассказывалось о том, что уже в 1849 году И. Третеским был изобретен реактивный двигатель для “паролета” (Техника – молодежи. 1981. № 5). Термины выглядели явно как новые, хотя о паровом самолете газета “Техника” писала еще в 1933 году (24 окт.). Однако!..

В 1843 году вильнюсская газета рассказала о “паролете” англичанина Генсона (это был аэростат с паровой машиной, который, правда, не смог взлететь). *Паролет* (польск. *parolot*) своей конструкции (фактически тот же аэростат) аэронавт А. Гришкавичюс подробно (с чертежами) описал в книге, изданной им на польском языке в 1851 году (на русском см.: Первый аэронавт Литвы. Вильнюс, 1971). Позже некто Н. Соколов наивно полагал, что искусственное летание вообще возможно только с помощью паровых машин, отсюда и название аппарата – *паролет*, а само передвижение человека в воздухе – *паролетание* или *паролетство* (Воздухоплаватель. 1883. № 20).

А в 1887 году в брошюре “Общее основание устройства воздухоплавательного парохода (паролета)” проект летательной машины с паро-

вым реактивным двигателем предложил киевлянин Ф.Р. Гешванд (Гильберг Л.А. *Покорение неба*. М., 1977). Так что паролету уже более 150 лет!

Другой пример. Еще в 1754 году М.В. Ломоносов демонстрировал свою аэродинамическую (первый аэродинам!) машину с вертикальным взлетом: “Это [было] не что иное, как *геликоптер*!” (В неведомых мирах. Вокруг Солнца. СПб., 1895). Создание первых отечественных машин с рулевым винтом-компенсатором было предложено Б.Н. Юрьевым в 1912 году. Называлась она, как тогда было принято, – *геликоптер* ... Изобрести новую машину было непросто, но “сложнее было придумать и внедрить в обиход такие, на первый взгляд, “нелепицы”, как “вертолет” [“черт-те что!”] вместо “геликоптер” (Техника и наука. 1983. № 9). И лишь в 1929 году появилось слово *вертолет*. Так был назван отечественный аппарат с вертикальным взлетом (отсюда и название: *верт* [икальный] + *о* + [само] *лет*). Но окончательно оно вытеснило термин *геликоптер* лишь в послевоенные годы. Правда, в 1937 году прошел испытания аппарат, получивший название *электровертолет*.

Различные “лёты” создаются не только в конструкторских бюро и лабораториях; их “запускают” на своих страницах и писатели-фантасты. Далее приводится перечень слов этой группы, возникших в разное время (при этом не учтены узкие окказионализмы): *автогидросамолет* (летает, ездит и плавает, 1998), *автолет* (гибрид автомобиля с самолетом), *аэролет* (*аэро*[план] + [само]*лет*), *велолет* (летающий велосипед), *велосамолет*, *ветролет* (аэростат с парусом, 1856), *вихрелет*, *газолет*, *галактолет* (фантаст.), *гибколет* (самолет с гибким крылом), *гидролет*, *гидроснеголет*, *гравилет*, *грузолет*, *дельталет* (и *дельтасамолет*), *дисколет*, *звездолет*, *ионолет*, *католет* (аппарат, который *кат*[ится] и *лет*[ает]), *космолет*, *лунолет*, *марсолет*, *махолет* (современный орнитоптер), *моторолет* (синоним самолета – И. Северянин, 1916), *мускулолет*, *неболет*, *паралет* (ср. пароплан), *педалелет* (ср. велолет, мускулолет), *планелет* (и *планетолет*), *планерлет* (ср. мотопланёр), *ракетолет*, *снеголет* (аэроплан на лыжах, 1914), *солнцелет*, *турболет*, *человеколет* (разновидность мускулолета), *шаролет*, *экранолет* (летит на собств. воздушн. подушке), *электролет* (первые проекты с 1869 г.) и мн. др. Первая основа в этих словах определяет либо способ полета (механизм), либо – “пункт назначения” (О “лётых” см. также: Русская речь. 1971. № 6; 1977. № 6; 1981. № 6).

* * *

Приведенные нами словообразовательные модели представляют “магистральное направление” воздухоплавания и воздухолетания. Однако развитие техники за редчайшими исключениями не движется строго по прямой линии. На этом пути встречаются и зигзаги, и спирали,

и просто тупики. За сравнительно недолгую историю авиации изобретателями предлагались и многие иные названия летательных аппаратов. Они остались на старых страницах, поскольку сами эти аппараты не оправдали себя. В то же время с лингвистической точки зрения их названия не менее интересны и поучительны. Поэтому в заключение приведем еще несколько образцов аэротерминов.

Как уже говорилось, в 1754 году Ломоносов демонстрировал модель своего аппарата. Петербургские ученые называли ее *аэродромической*, т.е. воздухобеглой. На рубеже веков (XIX–XX) успешно работал над своими аппаратами американец Ленгли, которые он называл *аэродромами*. Некоторые из его аэродромов приводились в движение паром. Фактически Ленгли поднимал свои машины в воздух одновременно с братьями Райт, но братья взлетели раньше.

Термин *аэродром* как название летательной машины некоторое время использовался и в русском языке; о нем неоднократно сообщалось в статьях о воздухоплавании до 1910 года. В одном из словарей иностранных слов (1905, автор А.Е. Яновский) он характеризуется как тип летательных машин, не вышедший за пределы опытов (см. Русская речь. 1985. № 6).

Одна из первых попыток разобраться в “воздушной” терминологии была сделана еще в 1860-х годах: *аэростат* – это “какой-нибудь воздухоплавательный аппарат, например, кузов [еще не корзина и не гондола! – А.Ш.] воздушного корабля”; *баллон* или *воздушный шар* – просто “мешок, наполненный газом” (Соковнин Н. Воздушный корабль. СПб., 1866). Воздушные шары свободного полета носили еще и просторечное русское название – *пузырь* (Вестник воздухоплавания. 1911. 18[31] авг.). Так же они назывались и в народе. Д.И. Менделеев приводил слова крестьянина, которые он услышал после приземления: “За пузырь-рем-то посмотрим, будь покоен”.

С увеличением количества типов различных машин уже в самом начале XX века встал вопрос об их классификации. Журнал “Воздухоплаватель” предлагал в 1904 году: *аэростат* – это неуправляемый круглый воздушный шар; *аэронат* – управляемый воздушный шар любой формы; *аэронеф* – всякий прибор тяжелее воздуха. В свою очередь аэронефы подразделялись на вертолеты, аэропланы и механические птицы (орнитоптеры?). Поясним вновь встретившиеся названия: *аэронат* (от греч. *nautes*), т.е. “воздухоплавец”. Так, кстати, назвал в 1885 году свой дирижабль К.Э. Циолковский. *Аэронеф* (от франц. *nef* “корабль”) “воздушный корабль”, уже **не** аэростат.

Свою классификацию дала и Техническая энциклопедия (СПб., 1912. Т. 1); авиация подразделяется на аппараты:

- с подвижными (машущими, бьющими, гребущими) поверхностями (ортоптеры);
- с винтовыми поверхностями [вертолеты, “пока нет результатов”];

– с неподвижными поверхностями [аэропланы, результаты “блестящие”].

В 1910–11 годах в России проходили авиационные недели, выставки аппаратов, соревнования на дальность полетов. Но вместе с тем не ясно было, чему же отдать предпочтение: геликоптеру (винтокрылу), ортоптеру (махолету) или самолету (с наклонной плоскостью-крылом) ...

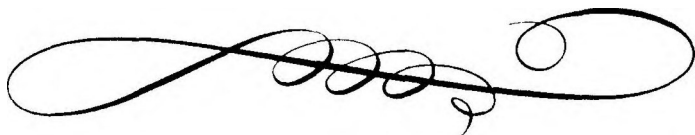
Проблемы терминологии в самом начале XX века всерьез волновали и самих авиаторов. Журнал “Автомобиль” писал: “Когда встал вопрос о том, как назвать прибор для передвижения по воздуху в желательном направлении, посчитали, что гораздо удачнее будет название, соответствующее слову *аэростат-аэромобиль*, хотя оно и принадлежит {...} автомобилю, приводимому в движение воздухом {...}. Итак, остановимся пока на *аэромобиле*” (1902. № 34. Курсив наш. – А.Ш.). *Аэромобиль* как воздушный аппарат в языке не закрепился, пополнив позже большое семейство наземных “мобилей”. Была, правда, еще и попытка сочетания первой основы с наземным экипажем – *аэрокарета* (1911).

“Маленький словарь воздухоплавания” – “Авия” (СПб., 1910) зафиксировал два существительных на базе латинского *volare* “летать, парить”: *волер* “летун” и *ортоволер* “прямолет”. Сюда же относится и *аэровольт* “воздухолет” (Воздухоплаватель. 1881. № 17).

Журнал “Воздухоплаватель” в свое время перепечатал статью из “Саратовских губернских ведомостей” о местных изобретателях, предложивших *аэромотив* (от лат. *motio* “движение”, ср. *локомотив*) и *аэровелосипед* (1881. № 14): “В начале нашего века идею своеобразного аэровелосипеда уже не считали неосуществимой” (Неделя. 1980. № 25).

Ни одно из этих названий не вошло в язык. *Аэровелосипед*, правда, претерпел некоторую трансформацию: *воздушный велосипед* (1894–95), *аэросипед* (В. Маяковский. Летающий пролетарий. 1925), *аэропед* (1980), а позже, на новом историческом витке, он превратился в *велолет* и *мускулолет*. В пору увлечения моторными велосипедами/мотоциклами были попытки “модернизировать” и авиационные термины: *авиациклетка*, *авиетка*, но эти слова не могли прижиться хотя бы потому, что очень уж отличались велосипеды/мотоциклы от самолетов и сравнения с ними отпали сами собой...

Санкт-Петербург



За знакомой строкой

АРИМАФЕЙСКИЙ ВЕЧЕР

Т.А. ИЛЬЯШЕНКО

Не только древнейшие памятники письменности, но и рукописные произведения недавнего прошлого вызывают у исследователей значительные трудности, связанные с прочтением и толкованием неразборчиво написанных слов. Такая участь постигла и некоторые слова и выражения библейского происхождения, встречающиеся в романе Н.С. Лескова “Божедомы. Повесть лет временных” (1868–1872).

Этот роман, рукопись которого хранится в Российском государственном архиве литературы и искусства, является подготовительной редакцией к хронике “Соборяне”, одному из самых известных произведений Лескова. К рукописи обращались многие ученые, которые в том или ином объеме цитировали ее в своих исследованиях.

Наиболее значительные выдержки из рукописи включил в свою книгу Н.С. Плещунов, где он кратко изложил содержание неизданных еще тогда “Божедомов” (Плещунов Н.С. Романы Лескова “Некуда” и “Соборяне”. Баку, 1963). Целиком роман был опубликован только в 1997 году в серии “Литературное наследство” благодаря труду группы ученых, подготовивших рукопись к печати (Неизданный Лесков. Серия “Литературное наследство”. Т. 101. Кн. I. М., Наследие, 1997). Однако, поскольку почерк Лескова недостаточно разборчив, некоторые слова, в частности, имеющие отношение к Библии, как у Плещунова, так и в полном издании воспроизводятся неверно, – хотелось бы эти неточности устранить.

Роман “Божедомы” начинается со значительного события: местные либералы, собравшиеся в доме акцизного чиновника Бизюкина, с восторгом читают письмо петербургского нигилиста Термосесова, в котором он сообщает им о своем приезде. “Здесь были друзья, вполне единомышленные, вполне собой довольные, и притом друзья, обрадованные общей радостью до восхищения”. По словам Лескова, это был “не пир, не бал и не заседание”, а нечто совершенно особенное. Что же? Попробуем разобраться, каким словом охарактеризовал писатель это собрание.

Пересказывая данный отрывок в монографии. Плещунов на свой манер отвечает на этот вопрос. Согласно его прочтению, “у акцизного чиновника Бизюкина – *аристократический* вечер” (курсив наш. – Т.И.). С известной долей вероятности можно предположить, что Лесков употребил бы такое определение в ироническом смысле, хотя называть нигилистов аристократами представляется довольно-таки нелогичным. Прилагательное написано у Лескова недостаточно четко, и поскольку определить его происхождение и значение исследователь затруднился, то отождествил его с хорошо известным словом.

Существует еще один вариант прочтения этого загадочного слова, предложенный в “Неизданном Лескове”: “Здесь был не пир, не бал и не заседание, а *аримофейский* вечер...” (курсив наш. – Т.И.)

Если прилагательное *аристократический* входит в словарный состав русского языка, то *аримофейский* фигурирует только на страницах “Неизданного Лескова” и оказывается, следовательно, “призрачным” словом (Добродомов И.Г. О “призрачных” словах // Русская речь. 1999. № 1). В его написании издателями допущена ошибка, связанная с неточным прочтением малоразборчивого почерка Лескова и незнанием библеизма *аримафейский*. Дело в том, что графическое отличие *а* от *о* – вертикальная линия с закруглением снизу – у Лескова часто отделена от буквы, и поэтому *а* и *о* легко перепутать. Итак, искомое слово – *аримафейский*, образованное от названия иудейского города *Аримафея*.

Попробуем определить значение этого прилагательного. Дело в том, что Аримафея – это город, откуда происходил один из последователей Иисуса Христа. Иосиф из Аримафеи (Иосиф Аримафейский) был богатым и знатным иудеем, членом Синедриона, ставшим тайным учеником Христа. После распятия он попросил тело Иисуса и положил его в новую могилу, которую приготовил для себя. Об Иосифе упоминают все евангелисты (Матфей – 27, 57; Марк – 15, 43; Лука – 23, 50, но только Иоанн говорит, что Иосиф был тайным учеником, и объясняет причину этого: “... Иосиф из Аримафеи – ученик Христа, но тайный из страха от иудеев...” (Иоанн. 19, 38).

Если учитывать, что Иосиф Аримафейский – близкий ученик и друг Христа, который скрывал свою веру в него, боясь преследований иудеев, то можно следующим образом определить значение слова *аримафейский*: “дружеский, но тайный из страха перед властями”. Действительно, собравшиеся в доме Бизюкина вздрагивали от страха всякий раз, как за дверью слышался шорох. Их стремление подчеркнуть тайный характер своего собрания зло высмеивает Н.С. Лесков.

Еще раз о глаголе *воять*

Н.А. ЕСТЬКОВА,

кандидат филологических наук

В № 4 за 1999 г. напечатана интересная заметка Н.С. Авиловой о глаголе *воять* у Бунина. Я хочу уточнить, действие каких морфологических механизмов приводит к трансформациям в парадигме глагола *выть* и нескольких других такого же устройства.

Много лет назад я услышала, как четырехлетний мальчик спросил: "Что это там *воило*?", с удовольствием отметив этот типичный для детской речи факт. (Я тогда не знала, что аналогичная форма – *воил* фигурирует среди перечисленных Пушкиным пяти грамматических ошибок, замеченных у него критиками.)

Мальчик выровнял глагол по настоящему времени. Естественнее всего объяснить это "ориентацией" на продуктивный класс на *-ить*; если исходить только из звучания, игнорируя орфографию, получается такой же глагол, как *строить*: *воить* – *вою*, *воишь*, *воит* и т.д.

Но если учитывать написания *воешь*, *воет*, обнаруживается сходство настоящего времени этого глагола (и еще четырех: *крыть*, *мыть*, *ныть*, *рыть*, образующих вместе с *выть* маленькую непродуктивную группку) с настоящим временем тоже непродуктивных, но более многочисленных глаголов, относящихся к тому же классу, что *писать*, *прятать*, *пахать* и т.д., но не выявляющих из-за "йотовой" основы чередований (*блеять*, *веять*, *лаять*, *лелеять*, *реять*, *сеять*, *паять*, *чуять* и нек. др.: *блеешь*, *веет*, *лаем*, *леелеете*, *реют*). Выравнивание по этой группе (а не по первому продуктивному классу, как пишет Н.С. Авилова) приводит к инфинитиву, который надо орфографически передать как *воять* (и *кроять*, *моять*, *ноять*, *роять*).

Обращает на себя внимание следующая деталь: все пять глаголов группки, к которой относится *выть*, имеют в настоящем времени корневое *о*; в то же время в группе с "йотовыми" основами, относящимися к непродуктивному классу, глаголов с корневым *о* нет (представлены *а*, *е*, *у*: *лаять*, *сеять*, *чуять*). Это имеет свое историческое объяснение, которого я здесь не касаюсь.

И вновь о языковых стразах

Н.П. КОЛЕСНИКОВ,

доктор филологических наук

Во 2-м номере "Русской речи" за 1999 год была опубликована заметка о языковых стразах на газетной полосе. Словом "страз" принято называть подделку под драгоценный камень. Стразами широко пользовались те, у кого не было больших денег, но очень хотелось украсить себя, покрасоваться. Вот что в связи с этим сообщает А. Терещенко в книге "Быт русского народа": "На рождественские Святки и в Пасху мужчины щеголяли во французских кафтанах с медными, стальными и стразовыми пуговицами".

В переносном значении слово "страз" впервые употребил В.Г. Белинский в статье "Русская литература в 1840 году": "Если мы взглянем попристальнее на современную литературу, то в небольшом количестве ее страз и большим количестве булыжников найдем несколько и бриллиантов". Применительно к языковым явлениям *стразами* называем различного рода недостатки, портящие русскую речь, отрицательно влияющие на нее, сбивающие с толку читателя.

В свое время широкой популярностью пользовался "Марш трактористов" (слова В. Лебедева-Кумача, музыка И. Дунаевского). Он имел такой припев:

Мы с чудесным конем
Все поля обойдем,
Соберем, и посеем, и вспашем...

Известный сатирик Михаил Задорнов в одном из своих выступлений прочитал эти строки и пришел к оригинальному выводу, вызвавшему громкий смех и аплодисменты всего зала: "Вот почему у нас бывают неурожаи...". Действительно, о каком урожае можно говорить, если трактористы сперва собирают его, потом сеют, а затем пашут... Создатели "Марша" нарушили естественный порядок следования сельскохозяйственных работ и в результате стали авторами языкового страза, использованного артистом эстрады.

Слова *заём*, *наём* только в косвенных падежах пишутся с *Й* (И кратко): *займа*, *найма*; *займом*, *наймом* и т.д. Однако сила этого *Й* настолько велика, что некоторые носители языка не могут устоять перед ним и вводят его в форму именительного падежа: *займ*, *найм*: "Неплохо, если есть возможность поместить заявку на найм кварти-

ры в Интернете” и “В центре найм жилья дороже” (Известия. 1999. 9 июня).

Между союзами *то есть* и *то бишь* имеется хоть и небольшая, но разница. Союз *то есть* употребляется как для разъяснения, пояснения, уточнения чего-либо, так и для исправления говорящим допущенной им ошибки. А просторечный союз *то бишь* не поясняет, а только исправляет то, что только что было сказано ошибочно. Поэтому неуместно его употребление там, где следовало употребить союз *то есть*: «“Правда” защитила не только драматурга, но и режиссера, то бишь Мейерхольда» (Правда. 1993. 26 апр.); “Массовость нынешних акций протеста организовывалась старыми добрыми советскими методами, то бишь по разнарядке” (Известия. 1999. 30 марта). В обоих случаях не следовало употреблять союз *то бишь*, т.к. в текстах идет речь не об исправлении только что сказанного, а о разъяснении, уточнении того, что было сказано. Ведь режиссер – это и есть Мейерхольд, а разнарядка – это известный старый метод организации. Вместо *то бишь* в этих текстах следовало употребить пояснительный союз *то есть* (т.е.).

А вот попытка “усилить” роль частицы *-де* (*дескать*), прибавив к ней частицу *мол*, которая означает то же, что и *-де*, привела к рождению страза: «Любители “версий” и “сценариев” активно тиражируют идею, что-де, мол, такой уж нынешний российский президент» (Лит. газета. 1999. № 27).

Может ли молот из наковальни добывать деньги? Оказывается, может, если верить такому стразу: “Он будет, как молот из наковальни, выбивать из западных кредиторов деньги для России” (Известия. 1999. 5 окт.).

Спорадически на страницах газет появляются стразовые ошибки в употреблении деепричастных оборотов. По своей структуре они напоминают изречение Н.С. Хрущева: “Увеличив количество скота, увеличится и количество навоза” (Правда. 1961. 17 янв.). Вот несколько образцов этого “злосчастного деепричастного”, собранных с газетных полос: “Прослушав доклад, все сомнения рассеялись”; “Возвратившись в Ростов, коммерция шла как по маслу”; “Накутившись, между солдатами завязался разговор”. В этих предложениях нарушено правило, согласно которому подлежащее, обозначающее лицо, совершает действие, обозначаемое сказуемым, и действие, обозначаемое деепричастием.

Другой род ошибок, связанных с употреблением деепричастий, заключается в несоответствии видов сказуемого и деепричастия. И то, и другое должны иметь один и тот же вид: либо совершенный, либо несовершенный. Это правило нарушено в предложении: *Подъезжая к реке, мы остановили лошадей*. Здесь деепричастие – несовершенного вида, тогда как сказуемое – совершенного. Этого страза могло бы не быть, если бы деепричастие тоже было совершенного вида: *Подъехав*

к реке, мы остановили лошадей; Промчался лыжник, оставляя на снегу глубокий след (нужно: *оставив*).

Не реже допускаются ошибки и в употреблении причастий. Одна из них заключается в том, что автор, конструируя предложение, не учитывает соотношенность времен: говоря о прошлом, использует действительное причастие в форме настоящего времени: "Все больные, находящиеся тогда в клиниках, прошли осмотр"; "Еще недавно бушующие в Госдуме страсти по поводу свободных экономических зон как-то забылись" (Известия 1999 г. 14 мая); "В России был отменен и действующий до того порядок" (Известия. 1999. 31 авг.).

Та же ошибка допускается и в случаях использования страдательных причастий настоящего времени при наличии в предложении слоев *ранее, тогда, до того* и др.: "Прочность украинской гривны ранее сравниваемой по прочности с немецкой маркой..." (Известия. 1997. 26 нояб.). Следующая ошибка заключается в забвении школьного правила о том, что от глаголов совершенного вида не образуются страдательные причастия настоящего времени, как в случае: "Правительства республик могут приостанавливать на своей территории действие опротестуемых актов".

Нарушением правил грамматики следует считать и образование составительного (условного) наклонения глагола не от формы прошедшего времени (*написал бы, желал бы, ушли бы*), а путем добавления частицы "бы" к причастию прошедшего времени: "Есть ли в Советском Союзе студент, пожелавший бы провести один год учебы в норвежском колледже?"; "Мать ворошила забытые подробности, объяснившие бы сыновью жестокость"; "Не нашлось голоса, спросившего бы у президента, кто же этот приказ отдавал". Нельзя согласиться с попыткой некоторых грамматистов узаконить подобные сочетания: «В предложении частица "бы" может вносить значение возможности или обусловленности в обособленный причастный или деепричастный оборот: *нашлись бы люди, с радостью сотрудничавшие бы с изобретателями (газ.); И сейчас она, дохлебав бы щи, поднялась бы и ушла (Тендр.)*» (Русская грамматика. Синтаксис, М., 1982. Т. 2. § 1922. Примечание).

В русском языке нет причастий будущего времени. Однако их можно встретить на страницах газет: "Он упустил из виду обстоятельства, в будущем *помещающих* ему"; "Окончательно определил состав 12 команд, *разыграющих* между собой звание чемпиона" (Из газет.).

От непереходных глаголов не образуются страдательные причастия ни настоящего, ни прошедшего времени. Но и это правило иногда нарушается: "В общем объеме *поступаемой* бумаги снижается удельный вес высших сортов"; "И откуда берутся легионы беспризорных решений, легко принимаемых, теряемых и *возникаемых*" (Из газет.).

Одним из видов языкового страза является преднамеренная фальсификация – частичное изменение названия пользующегося спросом то-

вара, например, названий некоторых грузинских вин. Известно, что в Грузии есть местности, где растет такой виноград, из которого изготавливают вино, носящее название этой местности и отличающееся своим “букетом” от других грузинских вин. Например, сёла Хванчкара, Ахашени дали свое название первоклассным винам “Хванчкара”, “Ахашени”, не раз получавшим призы на международных выставках.

Предприимчивые дельцы, немного изменив название, стали выпускать какой-то суррогат уже под сходным названием – “Хванчкареули”, “Ахалшени” на красивых бутылочных этикетках. Это не вина-бриллианты, а вина-стразы. Имея в виду такую подделку, автор заметки “Грузинское вино делают в автомобильном проезде” предупреждает: «Возможно, что скоро на прилавках появятся “Вазиперави” и “Сапесубани”, “Твиширеули” и “Киндзашени”» (Известия. 1999. 4 авг.). Эти “сплавы” составлены из настоящих названий “Вазисубани” и “Саперави”, “Твиши” и “Напареули”, “Киндзмараули” и “Ахашени”. Нам остается одно: предупредить читателей, а также любителей и ценителей грузинского вина: **“ОСТОРОЖНО – СТРАЗЫ!”**.

Ростов-на-Дону

К СВЕДЕНИЮ ЧИТАТЕЛЕЙ

Подписка на журнал “Русская речь” (индекс 70788) принимается в отделениях связи.

По вопросам льготной подписки обращайтесь в редакцию.

Телефон: 290-23-78.

КОНКУРС *на соискание премии имени А.С. Пушкина*

Отделение литературы и языка Российской академии наук сообщает, что в 2001 году будет проведен конкурс на соискание премии имени А.С. Пушкина РАН.

Премия имени А.С. Пушкина присуждается Президиумом Российской академии наук за лучшие работы в области русского языка и литературы.

Работы на соискание премии имени А.С. Пушкина могут представляться научными учреждениями, научными обществами, высшими учебными заведениями, научными советами по важнейшим проблемам науки, академиками и членами-корреспондентами Российской академии наук.

На соискание премии имени А.С. Пушкина представляются только изданные работы.

Выдвигаемые на конкурс работы представляются (в трех экземплярах, с надписью "На соискание премии имени А.С. Пушкина") по адресу: 121019, Москва, Волхонка, 18/2, Институт русского языка им. В.В. Виноградова РАН, для Экспертной комиссии по премии имени А.С. Пушкина. При этом должны быть приложены: мотивированное представление, включающее научную характеристику работы и оценивающее ее значение; резюме в объеме не более 6 страниц машинописи; краткие сведения об авторе (место работы, занимаемая должность, домашний адрес, номера служебного и домашнего телефонов) с перечнем его основных работ в области русского языка и литературы; справка о том, что представляемая на конкурс работа ранее не была удостоена Государственной или именной государственной премии.

Срок представления работ до 6 марта 2001 года.

Отделение литературы и языка РАН
